

ВИКТОР ДМИТРИЕВ

ДРУЖБА

Р О М А Н

6 — 10 тысяча

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

1930

*Типография Изд-ва „Молодая
Гвардия“, Ленинград, В. О,
5 лкм. 28 Зак. Изд. № 3704.
Ред. план № 731. Главли-
№ А-53025. Печ. лист. 1'
Тираж № 5.100 экз*

Посвящается

Р. И. Линцер

Знаете ли вы, как делается карьера? Надо обладать или блеском гения или изворотливостью безнравственности, надо ринуться в толпу как пушечное ядро или втереться в нее как чума!

Онорэ де-Бальзак

* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Скорый поезд Туапсе — Москва шел полным ходом. Он миновал Курск и приближался к Орлу. Земля то вставала над ним косою стеной и нависала всей тяжелой громадой, то принималась кружиться с утомительной, завораживающей быстротой. Прямоугольники зеленей и лиловых пашен сдвигались и убегали, сливаясь, как полосы на точильном круге.

Пассажиры жили со скоростью шестидесяти километров в час, измеряя время не по кругам минутной стрелки, а по мельканию отлетающих верстовых столбов и полустанков. Но Сергей Величкин эту большую скорость считал провинциальной и недостаточной. Он то-и-дело подходил к опущенному окну и, далеко высунув осыпаемую жесткой угольной пылью голову, глядел вперед, как бы высматривая сквозь дым, копоть и сгущающийся сумрак знакомые грузные купола столицы.

Это нетерпение было тем более странно, что всего пять дней назад Величкин не только не помышлял об отъезде, но пригретый и разнеженный первым летом

на юге, заплатил администрации дома отдыха за новые две недели деньгами, копленными целый год. Он в полосатых трусиках ходил на дальние горные прогулки, купался в соленом плотном прибое, часами валялся нагишом на горячем каменистом берегу, с удовольствием замечая, как покрываются виноградной смуглостью все новые участки его белой городской кожи, как выцветают, рыжеют и выгорают его черные волосы. И поперек этого плавного журчащего течения встал всего-навсего лист магнолии.

Был мертвый час, час отдыха и тишины. Величкин расположился на обычном месте—в густой тени в саду. Напряженная трескотня цикад была из травы непрерывным бенгальским огнем. Величкин захватил с собой книгу, но его так разморила прохладная истома, что он ленился даже делать вид, будто читает, и просто лежал, раскинув руки и сложив нераскрытый роман на груди.

Тяжелый темный лист, окрашенное зеленью олово, скользя и переворачиваясь, спланировал на край подушки.

У Величкина была давнишняя нервная привычка всегда что-нибудь вертеть, тереть, мять. Читая или разговаривая, он ломал и расщеплял спички, грыз травинки, скатывал шарики из жеваной бумаги. Так и сейчас он произвольным движением сперва перекусил скользкий толстый черенок, а затем стал раздирать лист по поперечным прожилкам. Лист был разграфлен с той непревзойденной и бессознательной экономной точностью, с какой устроены пчелиные соты или система кровообращения. Он легко разделялся на одинаковые, аккуратно сработанные и хорошо пригнанные пла-

стинки, различающиеся только величиною. Пластинки эти снимались со стержня легко, как бусины с нитки. Разрываемый лист уменьшался и укорачивался, но его форма не изменялась.

Величкин сел и отбросил книгу. Он внимательно со стороны следил за движениями своих пальцев. Ему было еще неясно, чем именно расположение и вид этих тонких пластинок связаны с мыслями, занимавшими его вот уже больше года. Но такая связь, несомненно, существовала.

Величкин нашел в траве еще один опавший лист и тоже разорвал его, потом потер небритый подбородок, оставляя на нем зеленые пятна, и поверх кустов рассеянно посмотрел на широкое море, которое ворочалось и урчало под обрывом.

Два дня Величкин ходил задумавшись и не играл в футбол, а на третий за обедом уронил ложку в прохладный компот и едва не выругался. Простое и ослепительное решение давнишней задачи вспыхнуло перед ним, как магний. В тот же вечер, за полторы недели до конца отпуска, он сложил дорожный мешок и уехал в Москву.

Нетерпение трясло Величкина. На каждой станции он выходил и быстрыми шагами, почти бегом, гулял по платформе, а когда поезд трогал, тщательно слыхал железнодорожное расписание со своими часами.

«К2» работал на совесть. Он приходил и уходил с проверенной исправностью. Но беспокойство не отпускало Величкина. Он боялся опоздать, боялся тех бесчисленных случайностей, которые могли задержать

поезд и оттянуть разговор с Иннокентием Зотовым. Ради этого разговора он, собственно, и сжал в Москву.

Зотов был давнишний фронговой друг Величкина, которого он приобрел, потеряв предварительно корову.

Эту корову Величкин, вместе с каптенармусом, купил для роты в Щиграх. Пока они торговались с крестьянином, полк ушел. Каптера в тот же день сшиб с ног сыпняк, и пятнадцатилетний синеглазый мальчик в длинной заплатанной шинели остался наедине с коровой посреди России, отставший от полка и растерянный.

В те годы человеческая жизнь и деньги быстро падали в цене. Чтобы избежать возни и канители, можно было застрелить пленного офицера по дороге в штаб: Вопреки всем запретам, такие вещи случались, и, может быть, подумавши, Величкин и сам пошел бы на это. Но убить или просто бросить при дороге обширную рыжую корову, растратить трехдневное утешение голодной роты было немисливо.

Плача и матершина, Величкин шел вперед и гнал перед собою проклятую скотину. Ноги, растертые грубыми сапогами и неумело подвернутыми портянками, горели и кровоточили. Он пришел сюда, чтобы, подобно лучшим из своих героев — широкогрудому Спартаку, бесстрашному Биг-Жаргалю, насмешливому Оводу, всем мужественным друзьям своего мечтательного длинноволосого детства — стрелять и приступом брать вражеские крепости, первым врываясь на стены неприступных фортов и бастионов. А вместо этого приходилось

орудовать хворостинной, изо всех сил подгоняя окаян-
ное медлительное животное. Корову нужно было кор-
мить, ухаживать за ней и доставить в ротный котел
хотя бы пришлось идти так до самого Черного моря.
И хотя полк давно нырнул в украинское галушечное,
сметанное изобилие, хотя Величкина уже к концу пер-
вой недели списали в «без вести пропавшие», он про-
должал честно выполнять свой долг и добрал до Белго-
рода. Брел бы он и еще дальше, если бы не объявился
неожиданный и расторопный приятель.

С того дня и открылась их дружба. Вместе попали
они на броневый автомобиль «Артем», вместе с криком
«даешь галифе!» влетели в Симферополь, побывали и
под Бердянском и в Полесьи. Два года дрожали они
под одной шинелью и брились одной бритвой. Только
двадцать второй год, год демобилизации и продналога,
рассадил их по разным вагонам.

Разлука была коротка. Через восемнадцать месяцев
они встретились в Москве. Зотов стал теперь студентом,
а Величкин работал на фабрике. Кони их снова пошли
рядом. И сейчас, когда Величкину понадобился това-
рищ для большого дела, он понял, что этим товарищем
может стать только Иннокентий Зотов.

В 10.30 поезд подошел к высокому дебаркадеру.
Дорожные дружбы рассыпались. Толкаясь и спеша,
ударяя друг друга чемоданами под коленки, пассажиры
пробивались к выходам. Все они торопились к семье,
квартире, утреннему чаю. Скучная московская пыль
медленно оседала на их платье и ботинки, смещиваясь
с пылью далеких южных городов.

Величкин торопился, как и другие, и больше других. Но не домой он спешил. На Новинский бульвар он заехал только оставить вещи и умыться. Он наспех обнял удивленную его преждевременным приездом мать. Елена Федоровна была и рада сыну и огорчена тем, что он прервал и испортил свой отдых. Впрочем, втайне она полагала, что в доме отдыха Сергей плохо питался, и потом он, вероятно, так далеко заплывал в море.

Елена Федоровна тотчас поняла, что ее сын опять озабочен и увлечен каким-то новым планом. Он, например, даже не заметил перемен, происшедших за время его отсутствия в этой маленькой, чисто выбеленной комнате, а Елена Федоровна считала эти перемены, как и все, относящееся до ее сына, делом значительным и важным.

Ей удалось очень дешево (по случаю) купить два тигровых коврика. Один из них она повесила над кроватью сына, прикрыв им холодную наружную стену, а другой постелила в ногах, чтобы, одеваясь и раздеваясь, Сергей не наступил на простудный паркет. И поэтому, что Величкин не обратил внимания на коврики, и по множеству других мелких признаков, которых посторонний человек вовсе бы и не приметил, но которые ей, матери, были совершенно понятны и ясны, она видела, что Сергей находится в так часто у него повторяющемся и так неприятном ей настроении. Таким вот сосредоточенным, пристально рассматривающим собственные мысли, рассеянно-ласковым он бывал всегда, когда им овладевала новая идея или увлечение. Именно таким он был и перед тем, как, забрав из верхнего комода свои метрики и пятисотенную бумажку, убежал из дому, чтобы поступить в Красную армию.

Елена Федоровна хорошо знала своего сына. Двадцать лет все ее помыслы были сосредоточены вокруг его судьбы и переживаний. Так было с того самого дня, когда, преследуемый полицией, революционер Федор Величкин эмигрировал в Париж, оставив ее одну с трехлетним ребенком. С тех пор, постоянно изворачиваясь и перебиваясь, то стряпая домашние обеды, то открывая шляпный магазин «Бомонд», то давая уроки, она неизменно преследовала и осуществляла свою главную и единственную жизненную цель — дать Сергею, или, как звали его дома, Ежику, лучшее, по ее понятиям, воспитание. Как бы плохо ни раскупались шляпы «Бомонда», какое бы равнодушие ни проявляли граждане города N-ска к «сытному и питательному домашнему столу», Сергей был одет в лучший из возможных бархатных костюмчиков, и лучшие в городе учителя готовили его в гимназию, преподавая ему таблицу мер и этимологию. Елена Федоровна читала энциклопедический словарь, чтобы уметь отвечать на расспросы сына. Она годами не ходила ни в театр, ни в гости, потому что мальчик не любил засыпать без ее прощального поцелуя.

Как тогда, так и сейчас смысл ее существования сводился только к тому, чтобы обеспечить и устроить жизнь сына. Ей ли было не знать Сергея Величкина!

И Елена Федоровна нисколько не ошибалась. В самом деле, все мысли Величкина были направлены только по одной дороге. Ему нужно было как можно скорей увидеться с Иннокентием Зотовым.

Зотов жил неподалеку — в Прямом переулке. В темном, пахнущем пеленками и жареным луком коридоре

его квартиры сыновья соседа, бухгалтера Шпольского, ссорились, оспаривая лестное право первому выпалить из пугача. Они же и сообщили Величкину, что дверь заперта, потому что дядя Иннокентий уехал на все лето.

— На практику, — добавил младший, видимо гордясь своей осведомленностью.

Этой возможности Величкин не предвидел. Это означало, что и его приезд и вся его спешка оказались напрасными. С Иннокентием они не переписывались; куда уехал его друг, он не знал, и, следовательно, нужно было ждать несколько недель, а может быть, даже и месяцев.

Величкин несколько времени постоял около двери, которую молодые Шпольские исчертили и изрисовали так сильно, что она сделалась похожей на карту путей сообщения. Он огорченно и бесцельно повторил три или четыре раза: «Уехал? Так, так!..» и «Значит, он уехал? Так...» — и медленно спустился по той самой лестнице, по которой, поднимаясь, прыгал через несколько ступенек. Потом Величкин опять поднялся, написал и подсунил под дверь короткую записку и снова вышел на улицу.

Зотова не было, и Москва показалась Величкину пустой. Он бродил по раскаленному городу. Размягченный пыльным июньским солнцем асфальт подавался и оседал под каблуком. Вдоль улиц грохотали и лязгали оглушительные грузовики, груженные длинными, волочащимися и громыхающими железными брусьями.

Величкин не привез с Кавказа ничего из обычных сувениров: ни заостренной кизиловой палки с моно-

граммой, ни узкого пояса со многими пряжками и ремешками, ни даже открыток с видом на Эльбрус и пышную гостиницу. Зато он для чего-то вез с собой через две тысячи километров лист магнолии, завернутый в носовой платок. Хотя в дороге Величкин часто смачивал платок водой, лист начал засыхать. Елена Федоровна хотела выбросить его в форточку, но Величкин отнял его и, тщательно расправив, спрятал между страниц Плеханова.

О том, почему и зачем ему понадобилась эта поbledшая реликвия, он не рассказал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Величкин не был на фабрике больше двух недель и ждал, что его окружают со всех сторон, будут хлопать по плечу, удивляться добротному рыбацкому загару, спрашивать, почему он так скоро вернулся. На самом деле все случилось не так.

Данилов, например, не выразил ни особенной радости, ни, тем более, удивления. Он сидел за своим большим столом в такой аккуратной и гигиенической позе, какие обычно можно наблюдать только на плакатах, рекомендующих работникам умственного труда и учащимся идеальное рабочее положение. Данилов не слишком нагибался над столом, но и не слишком откидывался назад; свет падал на его писание с левой стороны, а бумага, на которой он писал, лежала не чересчур наискось, но и не совсем прямо.

Когда Величкин вошел в комнату ячейки. Данилов посмотрел на него и, не здороваясь, сказал:

— Вот хорошо, что ты пришел. Мы намечаем тебя в культкомиссию, Серега. — Данилов концом карандаша постучал по выступающим желтым передним зубам. — Не возражаешь?

— Прежде всего здравствуй, — сказал Величкин, — а во-вторых, возражаю. Я ведь только позавчера приехал. Дайте мне отдышаться.

— Как-раз наоборот! Ты только приехал, отдохнул, не нес никакой нагрузки — вот возьмишь со свежей силой за работу. Так договорились? Я зафиксирую. — И Данилов раскрыл толстую записную книжку.

Величкин только вздохнул.

— Очевидно, действительно договорились, раз ты записываешь, — сказал он. — Придется работать.

— Да, да, Серега, уж будь друг, поработай. Мысков там совершенная шляпа с ручкой. А на тебя я, сам знаешь, надеюсь.... У меня последние дни ужасные головные боли, — пожаловался Данилов, сходя с официального тона, — будто крыса в голову забралась. Отчего бы это?

Только выйдя во двор, Величкин заметил, что, ничего не возразив, подчинился совершенно неинтересному и трудному назначению. Эта новая нагрузка шла вразрез со всеми его теперешними планами, требовавшими много свободного времени.

Но такова уж была странная природа Александра Тихоновича Данилова. Он никогда не кричал, не суетился, не распекал; говорил и работал медленно, потихоньку переворачивая и вороша слова и мысли. Но выходило как-то так, что, не торопясь, не командуя, он в каждом споре ставил на своем. Медленной своей походкой он однако поспевал обойти все углы и сто-

роны большого заводского хозяйства, расписанного по страницам его записной книжки. Там каждый человек и всякая вещь имели свое место. О каждом там значились хотя бы две—три написанные невероятно мелко, с непонятными сокращениями фразы. Предусмотрительная надпись на обложке гласила:

НАШЕДШЕГО !!!
ПРОШУ !!!

вернуть на прядильно-ткацкую фабрику им. Октября,
секретарю ячейки ВКП (б)

А. Т. ДАНИЛОВУ.

Отпуск Величкина еще не закончился, и Сергей все дни проводил в Румянцевской библиотеке. Он говорил, что в библиотеке изучает вопросы китайской революции. Но если бы спрашивающий последовал за Величкиным в Старо-Ваганьковский переулок, вошел в кружевные ворота, обогнул крошечный круглый скверик, где ребятишки, точно веселые козявки, копошились в песке, оглянулся влево — на неуклюжую каменную глыбу с надписью «Каменная баба, найденная при раскопках», — прошел между двух прилегших у дверей наивных мордастых львов, сдал пальто неторопливому старичку и, поднявшись по широкой лестнице, уселся рядом с Величкиным за длинный, обитый тисненой клеенкой стол, он бы с удивлением заметил, что его сосед изучает китайскую революцию по толстым книгам, усаженным математическими формулами и многочисленными чертежами машин, станков и двигателей.

Библиотека походила на бесшумную фабрику. Пятьсот или шестьсот человек в такт двигали карандашами! Когда Величкин поднимался курить на хоры и сверху глядел на длинный трехсветный зал, это придуманное им сходство казалось ему особенно верным. Он проводил аналогию и дальше, называя, например, комнатушку, из которой бесшумные библиотекари в синих халатах выдавали книги, инструментальной, а горбуна, отбиравшего пропуски у входа, табельщиком.

Отсюда, с хор. зрелище разворачивалось почти величественное. Смутный, ровный шум, производимый тысячами отдельных мелких и тихих движений, поднимался к расписному потолку, достигая до гипсового Платона. Вздохи согнувшихся над книгами девушек запутывались и повисали в мужицкой бороде Сократа и в лаврах Аристотеля. Сверху эти освещенные ровным и легким электричеством девушки представлялись вырезанными из бархата.

Затем Величкин спускался вниз и входил в раму, в картину, которой только-что был сторонним наблюдателем.

Приятно было чувствовать себя частью этого умного коллектива, приятно было, что на него сейчас смотрят сверху. Он с особенным вкусом и удовольствием пододвигал стул, раскладывал тетрадь и заострял карандаш.

В четверг Величкин пришел в библиотеку к десяти. Как всегда, после часа занятий он поднялся на хоры и, прислонясь к балюстраде, посмотрел вниз.

Черноволосая девушка показалась ему знакомой. Он не был уверен в том, что действительно знает ее. Может быть, это было случайное и минутное впечатление

Бывают ведь дни, когда все прохожие кажутся знакомыми.

Величкин занимался, как всегда, внимательно и усидчиво. Он выписывал на картонные квадратные карточки какие-то формулы и над некоторыми из них подолгу сидел задумавшись. Читал он очень быстро, часто герелистывая страницы, но на некоторых фразах задерживался и перечитывал.

Несмотря на то, что работа очень занимала его и была важна. Величкин все не мог отделаться от смутного беспокойства. Какое-то неясное воспоминание тревожило его своим легким прикосновением. Оно не отливалось в слова и только набегало на мысли, расплывчатое и неуловимое, как легкая тень полуденного облака.

Только когда, сдавая книги, Величкин случайно очутился в очереди позади этой девушки, когда он отчетливо и близко рассмотрел ее не совсем правильное, но чрезвычайно живое лицо, нежную родинку над верхней губой, сплошь залитые тушью глаза и смуглую прохладную кожу, он понял, что эта, еще мальчишески резкая в движениях, но уже загадочная и обещающая, как не наступившее утро, девушка—та самая Галя Матусевич, которая жила на Верхней Донской улице, носила коричневые ленточки в узких, топорщащихся, накрахмаленных косичках, с которой они однажды утром поцеловались, сидя на решетчатой садовой скамье. а в другой раз отправились через заросли бузины и болиголова искать горизонт. Он легонько дернул ее сзади за стриженные жесткие волосы и сказал: «Галя!» Она вздрогнула и оглянулась.

Сначала Галя не узнала Величкина. Но через несколько секунд она своим прежним, не изменившимся

за столько времени жестом подняла руки к вискам оправляя прическу и стирая десять лет разлуки.

— Неужели это ты, Сережа? — сказала она так громко, что библиотекари зашикали и замахали руками

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

За последние годы, и особенно за последние месяцы Гале обрыдло все в этом постылом маленьком южном городке. Нельзя было жить больше ни одной недели в этих стенах, которые восемнадцать лет обступали ее и давили. Они наваливались на плечи всей кирпичной многопудовой тяжестью. В каждой выбоине и щели паркета вместе с крысами и мокрицами жили традиции и воспоминания. Даже узор обоев был изучен. Галя знала, сколько васильковых букетов в каждом поперечном ряду и в каждой диагонали. Закрыв глаза, она могла одну за другой воспроизвести все те странные фигуры причудливых животных и неуклюжих человечков, какие ее воображение годами создавало из трещин на потолке или на белых кафлях голландки.

Все в этом человеческом жилье было устойчиво, неподвижно, сделано на века. Сильнейшее землетрясение обошло бы дом стороной, не решившись стронуть раздвижной обеденный стол с обычного места. Грузные широкоплечие шкафы выросли прямо из-под пола. Ножки кроватей уходили корнями в плинтусы и в квадраты паркета.

Когда распродавали мебель, чтобы оборудовать переезд семьи в Москву, Галя радовалась унижению врага

вчера несокрушимого. Теперь они жалобно стонали, эти кровати! Их пружины рыдали с лирической скорбью. А еще так недавно они трубили хрипло и победоносно. Каждое утро они рычали, как опьяненные битвой и вином боевые слоны. Каждое утро в один и тот же час они сопровождали одним и тем же репликам, эти никкелированные свидетели интимной и жалкой жизни семьи.

Ежедневно, в 7½ часов пополуночи, в будни и в красивые числа, шел ли косою близорукий дождь или бойкое солнце звонко стучало в окно, отец, свешивая из-под одеяла желтые волосатые ноги в теплых кальсонах, под гром пружин произносил одну и ту же фразу. В течение восемнадцати лет он не изменил в ней ни одной интонации.

— Куды девали мои туфли, куды? — раздраженно и нетерпеливо спрашивал он, почесывая жирную грудь и слепленный из белого мыла живот.

И все-таки каждый вечер мать неизменно прятала туфли под шкаф или за буфет, совершая этим тяжкое преступление против великих законов аккуратности и порядка, установленных отцом и незыблемых.

В поезде, на пути в Москву, Галя впервые в жизни не была разбужена отцовской филиппикой о туфлях. Проснувшись, она увидела только, как отец, тоскливо кряхтя, слезал с верхней полки. С его заштопанных ботинок осыпалась пыль. Божество было совлечено с пьедестала и водворено в жесткий вагон почтового поезда. Но и здесь старый Соломон продолжал поучать и негодовать. Он возмущался и неправильно уложенной корзинкой и грубостью проводника. И здесь суждения Матусевича были справедливы и симметричны.

Это была та самая безукоризненная и удручающая симметрия, с которой в квартире стояли комоды и фарфоровые мальчики, та самая душная симметрия, которая рано воспитала в Гае страсть к протесту, какой-то своеобразный инстинкт противоречия.

Одним из пунктов в семейной конституции был твердый описок взаимно исключаящих кушаний. Нельзя было, например, пить молоко после яблок или есть компот после селедки. Если кто-нибудь нарушал эти неписанные правила, мать, всплескивая руками и приподымая шелковые уски, говорила:

— После молока яблоки? Это же верная холера!

И Галя нарочно, на зло наедалась отвратительной, невкусной зеленой шелковицей, запивая ее сырой водой. «Ага, верная холера, — думала она при этом, — так вот же вам холера!» Отлично умея шить и вышивать, она любила нарочно, на зло путать нитки и портить узоры.

Календарь с босым Толстым сменялся календарем с корзиной незабудок, а на смену незабудкам приходила красotka с лошадьё. Галя превратилась из черномазой и круглоглазой девчонки в высокую и красивую девушку.

После революции и одиннадцати властей дела семьи пошли очень неважно. От большой, скучной либеральной газеты, бессменным корреспондентом которой состоял Соломон Матусевич, не осталось ни следа, ни ежемесячного гонорара. Матусевичи кормились главным образом овощами со своего огородика, разбитого во дворе, где прежде цвели клумбы. Вещей они все-таки не продавали. Старый Соломон попрежнему ворчал, ругался, порицая почему-то турецкого султана за его

давно недальновидную политику, и раз навсегда категорически заявил, что «советскую платформу под него не подкатят». Мать стряпала обед и подавала на тонких фаянсовых тарелках пять плохо пропеченных, обсыпанных золой картофелин. А Галя бегала по своим скаутским штабам, где-то за гривенник в день мыла голы и с тоской силилась постичь передовицы местных «Известий».

Галя кончила школу, а мать постарела. Наконец брат Валентин, который давно уже жил в Москве и был теперь не Валька Матусевич, а молодой, толстый, преуспевающий журналист, товарищ Южный, выслал им денег на дорогу и написал, что для них готовы три комнаты у Покровских ворот и на лето снята дача.

Дача с мезонином, в которой жили Матусевичи, стояла на взгорье. Она далеко выступила вперед из рядов низкорослых деревянных домиков и зашагнула почти в самый лес. От первых деревьев ее отделяла только поросшая травой узкая проселочная дорога.

Впервые за последние две недели Величкин позабыл о листке магнолии, и о связанных с ним планах, и о своих занятиях в Румянцевской библиотеке, и о том, что Зотов может задержаться еще на месяц — словом, о всех тех мыслях, которые не отпускали его даже во сне и за обедом. Он был слишком обрадован неожиданным свиданием с Галей Матусевич.

— Как хорошо, что Москва такая маленькая деревня, — говорил он по дороге на вокзал — В каком-нибудь Нью-Йорке мы могли не встретиться еще десять лет.

Разговор налаживался с трудом. Часто оба надолго замолкали. Как-то не удавалось после длинной разлуки

настроиться на одинаковую ноту. Несколько помогала только Галин интерес к достопримечательностям столицы. Она еще боялась переходить улицу. Все здания с колоннадами казались ей Художественным театром или университетом, а все мужчины в автомобилях — наркоманами или Маяковскими. Величкин, перебирая и придумывая, рассказывал ей о московских музеях и сообщал названия улиц и площадей.

На даче Величкин недолго поговорил со стариками Матусевичами. Товарищ Южный еще не вернулся из города.

— Ты пойдешь гулять, Галя,—сказал Соломон Матусевич,—так смотри же, не простудись. Надень пальто сегодня сыро!

Галя фыркнула и не только не надела пальто, но скинула и теплую кофточку.

— Пойдем поскорей, — сказала она Величкину.

Через несколько минут они уже шли по лесу, перебираясь через хрустящие груды валежника и переступая положенные ветром мшистые стволы. В лесу Величкин почувствовал себя проще. Он рассказывал Гале забавные истории, вспоминал смешные эпизоды из их детства и даже попытался запеть, но Галя зажала уши и взмолилась:

— Сереженька, пожалуйста, оставь. Ты очень изменился, но твой голос — нисколько.

— Ваше желание — закон, королева, — усмехнулся Величкин. — Разрешите преклонить колени и поднести вам сей скромный дар. — Он подал ей несколько стрельчатых фиалок.

Они шли теперь по окраине леса, вдоль неглубокой канавки, отделявшей деревья от луга. По таким канавам

обычно растет земляника, и если разгрести холодную, влажную траву, скроются розовые ягоды. Присев на корточки и уткнув головы под зеленые листья, они прячутся здесь от птиц и детворы.

— Как ты жила, Галья, последние годы?—спросил Величкин. — Дай-ка мне руку, я тебе помогу перепрыгнуть лужу.

— Ну, вот еще! Я сама.

Галя прыгнула через ручей, и круглая тень прыгнула за нею, как собака. Платье, взлетев, опередило ее. Величкин увидел, что у Гали круглые исцарапанные и ссадненные мальчишеские колени. Но сзади, на сгибе ноги, кожа была прохладной и не тронутой загаром. Легкая коричневая черта перепоясывала ее.

— Давай, Галья, разгоним хорший костер, а?

— Давай, конечно. Я умею разжигать одной спичкой. Мы в скаутском отряде учились. Только нужно хворосту.

— В два счета, — сказал Величкин. — Садись и жди.

С треском и грохотом он вломился в чашу кустарника. Величкин с наслаждением мял гнул и терзал неподатливые ветви.

«Что такое хворост? — думал он. — Вот велела бы она сломать эту сосну!

— Ну и не сломал бы. В ней двенадцать вершков. И вообще, когда это вы успели влюбиться, товарищ?

— Всегда любил и сейчас люблю Галю Матусевич.

— Ага, так, молодой человек? А с кем же это вы целовались в китайской беседке на берегу Черного моря? Кажется, ее звали...»

— Отстань, дурак, ты ничего не понимаешь, — ворчал Величкин, обламывая толстое корневище и лоя себя на том, что говорит вслух.

Фиолетовые огни дрожали и прыгали на развалинах горящих сучьев. Солнце зашло. Апельсиновый закат распространился по небу и по березам. Облака пылали недолго. Они медленно угасали, подергиваясь серым пеплом. Вечер наклонился над землей, и с полей хлынула прохладная тишина. Величкин подбросил в костер можжевельника. Треск и искры брызнули навстречу росе.

— Хорошо здесь, Галка, верно? — спросил Величкин шопогом. Обхватив колени, он вглядывался в пламя, и задумчивое оцепенение охватило его. Миры возникали и рушились перед его глазами. Огонь зигзагами метался от ветки к ветке. Далеко на линии кланялись семафоры и шумели поезда, уходя в бесконечность и обдавая копотью окрестности.

— Прочешь тебе стихотворение? — тихо спросил Галя.

Он молча, боясь сломать очарование, кивнул

Здесь прошелся загадки таинственный ноголь.
Поздно. Выплюсь, чем свет перечту и пойму
Но, пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедий трюгают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.¹

¹ Замечательные стихи эти принадлежат Б. Л. Пастернаку («Цветы книги» стр. 208). Автор.

— Поцелуй был как лето, — повторил Величкин. Непонятно, но как-то хорошо. Я вообще люблю стихи, а сейчас особенно. Это твои?

— Конечно, нет!

— Почему конечно? Я слышал, ты пишешь.

— Давно бросила! С тех пор, как убедилась, что бездарность... — Галя перекусила веточку, которой отбивала такт при чтении, и сморщилась от горечи осиновой коры.

— Глупая ты девочка, а не бездарность, — нежно сказал Величкин. (Слишком нежно, как он тотчас с ужасом отметил).

— Ерунда! Я ничего не умею и ни к чему не гожусь. Обыкновенная уездная барышня! Знаешь, я жила до восемнадцати лет и, как дура, каждый день ждала чего-то необыкновенного.

— Да, я понимаю, — сказал Величкин. — Это известная вещь. Все время кажется, что в понедельник встанешь пораньше и начнешь жить по-новому.

— Приблизительно. Но я даже не знала, чего, собственно, жду и что должно случиться. Просто какой-то розовый туман. Ты понимаешь?

— Да, разумеется, — торопливо ответил Величкин.

— А вот однажды я проснулась утром и посмотрела в окно. Шел противный дряблый, мокрый снег. Знаешь, который тает, еще не коснувшись земли. И сразу стало ясно, что сегодня вторник, морда у меня некрасивая, нос длинный и ума особого нету и талантов никаких. А так — что-то среднее, бесформенное и бесцветное. Жутко ведь проходить через жизнь, как поезд. Ни следа никакого. только рельсы погудят еще минут десять. Понял?

— Понял, — сказал Величкин.

Он не слышал последних слов Галя.

Искры прыгали вокруг ее черных волос, а в глазах горели опрокинутые костры. Она была желанной и нужной. Он не мог больше жить без нее даже и пяти минут. Нужно было немедленно, тотчас подойти к ней и обнять ее.

— Галя, — сказал он глухо и протянул к ней руку.

Она обернулась и деловым тоном спросила:

— Что ты хочешь сказать?

— Ничего! — угрюмо ответил он. — У тебя нитка на плече.

Впоследствии Величкин подводил под свое тогдашнее поведение многочисленные и разнообразные объяснения.

— Я мог этим неожиданным поцелуем разломать те немногие дружеские отношения, которые у нас были, а получил ли бы я что-нибудь в обмен — еще неизвестно. К тому же давно выяснено, что в друзей детства не влюбляются, — говорил он после.

Но на самом деле ни о чем таком он не думал в ту минуту.

— Ты только о нитке мне и скажешь? — обиженно спросила Галя. — А все, что я говорила, тебе неинтересно?

— Видишь ли, это просто у тебя болезнь возраста. Детского возраста, добавлю. Подчеркиваю **детского!**

— Ты старше меня только на два года.

— Но я прожил в десять раз больше, чем ты. Я уби вал людей и произносил речи на митингах в то время

как ты еще штудировала Шапошникова и Вальцева. И насчет этих твоих желудочных страданий у меня своя теория.

— Расскажи!

— Она называется теория винтика.

— Теория чего?

— Винтика. Ну, винта, если так тебе больше нравится. Все мы должны быть только винтиками. Понимаешь?

— Признаться, не понимаю.

— Ты видела пулемет? Или швейную машину?

— Видела и то и другое.

— Такая игрушка вся состоит из винтов, шурупов, колесиков. Каждый из них в отдельности — ничто «ничто серое и бесформенное», как ты выражаешься, а в целом они составляют великолепную машину смерти или полезную в хозяйстве стукалку. Так вот: это простейшая истина, но ее надо глубоко понять. Мы все только винтики в классе, с которым связали свою судьбу.

— И все-таки для самого-то винтика это неутешительно. Ему, наверное, хочется быть маховиком.

— Нет, ерунда! Не помню, где я читал, кажется, в «Андрее Кожухове». Народоvoleц-террорист говорит, что если бы его для блага революции заставили с утра до ночи мыть посуду, он и это стал бы делать с восторгом. Ты понимаешь, для винтика не самопожертвование то, что он винтик. Он не отрекается от своего «я» и не превращается в какого-нибудь мученика первых веков христианства. Для него и самая работа в качестве винтика составляет радость, дает ему удовлетворение. Эта работа и есть его жизнь!

— Вот этому-то я и не верю. Ты излагаешь мне прописи, а сам вовсе не был бы доволен такой ролью. Людей без честолюбия нет.

— Правильно, и у нас есть честолюбие! Помнишь, мы вместе читали про французскую революцию?

— Да, помню, Блосса...

— Какой романтикой были для нас все эти звучные слова: санкюлоты, конвент, жирондисты, комиссар! С каким восторгом мы читали об этих оборванцах, тащавших срубленные головы на пиках. Как мы думали: вот бы хоть день, хоть год прожить в этом котле! А ведь теперь мы — эти санкюлоты! Слова «Чека» и «Красная армия» будут для потомков окутаны такой же романтической дымкой. Через тысячу лет о нас будут писать: «Эти люди голодали и мерзли в пустых городах, в которых свистел и плясал ледяной ветер. Они коченели в хлебных очередях и завоевывали мир». Это будет про нас. Галя! И, главное, мы заслужили и эти слова и благодарность!

Увлечшись, Величкин и сам не заметил, как встал. Он говорил горячо и размахивал руками, глядя в темноту. Свою речь он обращал не только к Гале, но и к самому себе.

— Вот это настоящее честолюбие. Честолюбие класса, переделывающего мир. Если бы я сделал что-нибудь очень по-настоящему большое я бы и имени своего не подписал, а сказал бы так: «Это сделал один из миллиона»...

— Пойдем. — сказала Галя неожиданно. — Мне холодно.

Они шли, приминая высокую росистую траву. Галины туфли и подол намокли. Она зябко повела пле-

чами, и Величкин накинул на нее свою согретую гелом кожаную куртку. При этом он нечаянно коснулся Галильных волос, и от этого прикосновения дрожь жалостливой нежности пробежала по нем. Они молчали. Только подходя к дому Величкин вспомнил, что так и не сказал о своей любви.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Величкин был совершенно искренен, когда излагал Гале свою «теорию винтика». Эту теорию он не придумал тут же в лесу для утешения девушки. Он пришел к ней давно, в результате многих размышлений, раздумий и внутренних переломов, после которых изтечился или по крайней мере полагал, что изтечился от того, что называл «детским честолюбием».

Но было время, когда это самое «детское честолюбие» составляло основу всего внутреннего мира Сергея Величкина. Когда Величкин девяти лет решил сделаться вегетарианцем и во славу худосочных идей и зеленых шпинатов отказался от вкусных, сочных бифштексов он не просто вегетарианствовал. Кушая морковные котлеты, он одновременно представлял себе пышное вегетарианское будущее и себя в качестве пламенного трибуна беззубного питания. Своими речами он трогал и покорял миллионы. Человечество поднималось по его призыву.

Сергей рано выучился читать. С шести лет он весь день проводил забившись под кровать. Там уютно пахло пылью и одиночеством, и, выставляя оттуда только ноги, он читал то «Анну Каренину», то «Жизнь живот-

ных». Из книг и приходили к нему его многочисленные увлечения.

Они были очень разнообразны. Четыре месяца Величкин не тратил денег на завтраки, а на пятый получил из Питера, от Бурэ, великолепный, блестящий чистым стеклом и жаркой медью двадцатирублевый микроскоп. Зажатые между стеклышек капли воды оказывались на самом деле такими, какими их рисовали в учебниках — огромными и густо заселенными чудовищами. Потом биология упразднилась. Микроскоп запылится и попал на шкаф, а Величкин построил из катушек и ржавых гвоздей собственную динамо-машину и электрический звонок.

Но писал ли Величкин стихи или наблюдал воинственную жизнь рыжих муравьев, он неизбежно мечтал о высокой судьбе на этом, вчера лишь избранном поприще. Правда, днем он тщательно и наглухо застегивал на себе свой скептицизм, как негнувшийся хрустящий сюртук. Но вечером, когда разнеженная подушками мысль бродила по узкой меже между светом и тенью, в тот великолепный час, который хотелось бы растянуть на вечность, чтобы всегда лежать так, чувствовать, как то вспыхивает, то загорается сон и вместе с ним то исчезает, то снова блещет глубокий лунный разрез на книжном шкафу, — в этот час Величкин мечтал.

В своих полуснах он то видел себя полководцем, везжающим в покоренные города, при бурном лязге оружия и оркестров, то бесстрастным астрономом, глядящим через холодные очки на гибель миров, с треском и пылью разлетающихся на куски в мировой пустоте. Но и полководцем и астрономом он неизменно

приезжал в родной маленький город, в тот самый, где они с Иоськой Чечельницким под хохот всего класса дрались меловыми тряпками.

На вокзале было тесно и душно от многих пылко благоухающих букетов. Величкин выходил из вагона, гордо подняв львиную (да, да, именно львиную!) голову. В толпе одиноко стояла она. Величкин мощными плечами раздвигал рукоплещущих и беснующихся поклонников, подходил к ней и легко поднимал ее на руки. Тут же оказывался извозчик. Сергей вскакивал с нею в пролетку и мчался по знакомым улицам, наперерез заходящему солнцу.

Так же, как в этих мечтах слава не была определенной, конкретной, реально ощутимой славой, заслуженной таким-то великим делом, а была человеческой славой в о б щ е, т а к о н а не имела точно очерченного лица и паспорта. Это было скорее туманное видение, нежели живая женщина, с пульсом и фамилией Поочередно она походила то на Галю, то на облитую желтым трико гимнастку из заезжего цирка.

Совсем давно, еще в том детстве, когда Сергей играл в солдатики и строил кубиковые замки на ковре в столовой, ему случалось напроказить. Он прятал под комод всю связку материнских ключей сразу от всех сундуков и ящиков или долго и оглушительно палил во дворе из пугача. Часто дело кончалось тем, что мать, закусив нижнюю губу, запирала Сергея в ванную комнату. Там было тепло, вода мерно и мелко капала из крана и стекала с эмалированной поверхности, не оставляя следа. Это наказание было скорее символическим. Сергею оно даже нравилось. Он садился на край ванны и под звон капель принимался обдумывать свою горь-

кую судьбу. Там же, в ванной, он разработал до тонких деталей план восстания детей.

Всякий не достигший пятнадцати лет мог бы вступить в основанный Величкиным вольный и тайный союз. Они имели бы свой пароль и особенное рукопожатие. Тысячи детей—от Белого и до Черного моря—в заранее назначенный час с песнями мятежа восставали против родительской тираннии. Величкин шел во главе этой армии. В решительной битве он дрался, как Спартак, двумя широкими мечами. А там, за этим сражением, конечно, открывалась залитая необыкновенным светом слава.

Мечтательности своей Величкин стыдился, как немальчишески длинных локонов, от которых его избавила только гимназия. Дверь в свои вечерние комнаты он не отпирал ни для кого. Это было его собственное, потайное, личное. Он не умел назвать это по имени, но всего лучше здесь подходили медные слова: Гамбетта, социализм, Фламарион.

Величкин не любил вспоминать о детстве. Он охотно вырвал бы этот листок из календаря. Ему было неприятно, когда в присутствии приятелей мать рассказывала о его диковинных способностях в три года или показывала фотографию, на которой он был снят в маскарадном костюме принца. Она называла его Ежиком при тех, кто знал его только в качестве Сереги, и ему оставалось краснеть и молча злиться, потому что, и это было самым обидным, не было ровно никаких разумных оснований запретить матери поминать прошлое.

Сам Величкин начинал свою биографию с плаката. «Ты записался добровольцем?» — громко спрашивал этот черноглазый красноармеец, настигая взглядом и

нацеленным пальцем. Величкин не опускал перед ним глаза. Высокий рост и широкие плечи подарили ему, пятнадцатилетнему, завидное право написать в анкете «семнадцать». Некому и некогда было опровергнуть эту выдумку. Он мог держать винтовку, а неужели этого было недостаточно? И разве не его отец, не Федор Величкин, был комиссаром дивизии? Разве не его застрелили на митинге пьяные григорьевцы, оборвав вместе с речью седеющую жизнь? Этот мандат не мог аннулировать никто!

Дальше шла не биография, а анкета, приятная своей дюжинностью, своей одинаковостью с тысячами других анкет, хранящихся в запыленных коричневых папках статистических архивов. Служба в армии, демобилизация и партийная работа, механический цех фабрики имени Октября — все это было как у других, даже названиями параграфов свидетельствуя о том, что Величкин и в самом деле имел право на почетное звание прочного и хорошо сидящего в гнезде винта, на настоящее мужицкое и простецкое имя — Серега.

ГЛАВА ПЯТАЯ

*Сестра моя жизнь и сегодня
в разливе
Расшиблась весенним дождем
обо всех.*

Борис Пастернак

Лето шло к концу. Была уже половина августа, когда Зотов вернулся в Москву. Этот день для Величкина начался обычно. Отпуск Сергея давно кончился. Слова

нужно было ежедневно подыматься в седьмом часу а снова ежедневно повторялось одно и то же: Величкин просыпался, вставал с постели, умывался, натягивал кожанку и выходил на улицу. Но на подножке трамвая сознание ненастоящести происходящего будило его во второй раз и теперь уже в самом деле. Вместо улицы и площадки вагона оказывалась комната, мать, согнувшаяся над примусом, сложенная одежда на стуле. Величкин с отвращением убеждался, что еще не вставал и что ему только предстоит это сделать.

Елена Федоровна изо всех сил накачивала керосин. Спина ее и лопатки двигались под домашним теплым платьем, и по этому движению видно было, что качать ей очень трудно. Примус гудел и содрогался. Он хлопкотал, слегка подпрыгивая на тонких изогнутых ногах. Лепестки синего пламени подпирали закоптелое дно чайника.

— Поздно ты сегодня вернешься? — спросила Елена Федоровна, наливая молоко в кофе. — Опять какое-нибудь заседание?

— Последнее время я всегда возвращаюсь рано.

— Всегда? А в среду?.. А позавчера?.. Я ведь так беспокоюсь... Мало ли что может случиться...

Бывают в августе по утрам такие прохладные, как бы стеклянные часы. Дворники сметают с холодных звонких тротуаров резные бронзовые листья. Кованые прямые дымы упираются в бесцветное, как застиранный ситец, небо. Четко очерченные тени разрезают заборы и стены.

Войдя в проходной двор. Величкин быстро выплеснул из бутылки холодное какао. Елена Федоровна находила, что ее сын очень исхудал. «Щеки ввалились,

глаза втянулись»,—повторяла она ежедневно. Поэтому она еще с вечера готовила для него бутылку холодного вкусного какао. Величкину нравилось это густое и сладкое питье. Но принести бутылку на фабрику и пить какао в обеденный перерыв, свесив ноги с чумазого верстака, было так же странно и невозможно, как притти на завод в мягкой фетровой шляпе и крахмальном воротничке.

Это какао напоминало Величкину занятную сцену из его детства. Дело было в деревне, где они жили на хуторе. Серезу повели смотреть, как работают крестьяне. Душная пыль поднималась от молотилки. Босые девки отгребали колючую солому. Сергей стоял в своем бархатном костюмчике с голыми коленками, и ему было так стыдно, как бывает только во сне, когда видишь себя в одной рубашке посреди многолюдного общества. Сейчас, пятнадцать лет спустя, он краснел, припоминая свои голые коленки и взгляды крестьянских ребятшек.

Механический цех, в котором работал Величкин, помещался между прядильным и ткацким. Поэтому с одной стороны слышался непрерывный треск и грохот нескольких сотен ткацких станков, словно там тряслись и дребезжали бесчисленные ломовые телеги, а с другой—доносился неизменный, ровный гул больших чистых прядильных машин. Величкину иногда представлялось, что вот с таким ровным, густым гуденьем несется через мировую пустоту наша тяжелая планета.

Заглянув в чертеж, Величкин зажал в кулачки своего американского токарного станка недоделанную вчера

деталь и передвинул рукоятку. Темное пятно скользнуло вверх по приводному ремню, потом опять вынырнуло из-под шкива и снова побежало вверх. Привычные запахи и шумы оцепили Величкина.

Работавший за соседним станком старый опытный токарь, Болеслав Матвеевич, рычал и ругался. Это был злой поляк. На его необозримом и тусклом жирном лице терялись крошечные сизые глаза. Он обзывал всякими нелестными именами тщедушного и упрямого молодого хронометражиста, тщательно записывающего в блокнот скорости отдельных операций.

— Это значит опять новый расценки, — кричал поляк. — Я не буду этого позволять, чтобы всякий сопливец своим карандашиком портил мне мой заработок.

Хронометражист, видимо, робел и умоляюще взглядывал то на одного рабочего, то на другого. Этот студентик работал недавно, и неприязнь рабочих сильно смущала и расстраивала его.

— Провались ваша рационализация и вся ваша власть с нею вместе! — громыхал Болеслав — Мы вашего брата на тачке вывозить станем!

Величкин пожалел хронометражиста.

— Болеслав Матвеевич, — спросил он, — что нового в духовом оркестре?

— О, у нас в духовитом оркестре разучивается марш Рихарда Вагнера. Вы скоро будете слышать!.. — И, забыв о хронометражисте, Болеслав Матвеевич заговорил о своем любимом детище — духовом оркестре.

В обед, скушав тщательно завернутые матерью в пергаментную бумагу бутерброды, Величкин отправился бродить по фабрике. Он любил в этот свобод-

ный полчас ходить вдоль опустевших этажей, спустаться и подниматься по вздрагивающим железным лестницам, останавливаться возле широких пыльных окон. В каждом корпусе все было своим и особенным. Даже самый воздух в ткацкой жестяной и жесткий, а в прядильной — сырой, плотный — прачешный.

Возле красильной Величкин встретил близорукого и озабоченного секретаря комсомольской ячейки Илюшу Францеля.

Илюша бежал по коридору, приплясывая и щелкая пальцами. Как всегда, он был чем-то до крайности встревожен, куда-то чрезвычайно спешил и, вероятно, опаздывал. Его красные, кроличьи, грустные глаза, лишенные ресниц, быстро и беспокойно мигали. Заметив Величкина, Францель остановился.

— Вот хорошо, что я тебя попал!—заявил он на своем всегдашнем невообразимом жаргоне. — Оповести ребят, что сейчас во дворе митинг, а потом на демонстрацию.

— А что случилось?

— Убит наш посол в Польше. Звонили из райкома. Так не забудь же оповестить, — еще раз сказал Францель и, лихо повернувшись на каблуке, убежал.

Ветер сухими пальцами ерошил и перебирал волосы на голове Сергея.

Речь говорил человек, который в семнадцатом году был одним из любимых вожakov неукротимых кройшадтских матросов. От больших митингов тех дней он сохранил неизменными ораторские манеры и приемы.

Подымая руки к небу, он часто встряхивал невидимые вожжи. Иногда жестикуляция опережала слово. Он не успевал во-время подобрать нужную фразу и только молча стучал кулаком по воздуху.

Речь его в обычное время представилась бы Величину скучной и склеенной из шаблонных абзацев газетных передовиц. Но сейчас самая тема заранее настраивала на торжественный лад. Величкин старался каждое примелькавшееся и затертое выражение возвращать к первоначальному и подлинному, образному смыслу.

— Пролетарии тверже сомкнут ряды, — сказал оратор, стуча кулаком. И Величкин по-новому почувствовал эту тысячу раз слышанную фразу. Ему представились бесконечные толпы угрюмых людей с ржавыми от железа руками, в одежде, пропитанной металлической пылью и машинным маслом. Багровые флаги тяжелыми крыльями шумели над рядами. Люди шли на запад, накатываясь на узкий полуостров Европы, как неотвратимый чугун затмения на солнечный диск. Мосты вздрагивали и гудели под их грузовой поступью.

Старые ткачихи раскрывали рот и вытягивали морщинистые шеи. Слово «война» пугало их.

Величкин почувствовал у своего уха тяжелое бурлацкое дыхание. Обернувшись, он увидел Болеслава Матвеевича. Потный и раскаленный поляк проламывал себе дорогу через толпу.

— Ну что, будем воевать с Польшей? — спросил его Величкин веселым шопотом.

Болеслав Матвеевич посмотрел на него с обидным пренебрежением.

— А что мне тая Польша? — сказал он. — Провались она на левую сторону.

Не останавливаясь, он двигался вперед. Его проводочные усы торчали, как штыки.

Величкин еще не успел изумиться, а уж старик оказался на замещавшей трибуну площадке фабричного паровоза.

Своим ломаным русским языком, спотыкаясь на длинных словах, Болеслав бессвязно кричал, что, хогя и поляк, он первый пойдет в Красную армию.

— В нашу армию, — сказал он.

И это «наша» прозвучало как неожиданное любовное признание.

— Наша страна! Моя страна! — повторял про себя Величкин, машинально сменяя ногу. Чувство особенной веселой и пенистой гордости проникало его. Он схватил за вытертый кожаный рукав шедшего рядом красноглазаго маленького Францеля.

— Понимаешь, Илюшка, — говорил Величкин, дергая приятеля за руку, — какое-то чертовское сознание силы охватывает. Может, в Донбассе, в Мексике так же идут люди. У меня есть заботливая мать, ты лижешь пальцы, но все вместе мы сила, понимаешь, часть великого... Я не умею говорить, но я бы сказал...

Крайним в ряду шел высокий черноглазый парень Володя Татаринов, в обычное время красивый и бестолковый балагур. Когда замолк оркестр, Татаринов запел недавно вошедшую в моду песню.

— Наш паровоз вперед летит,
В коммуне остановка!—

затянул он высоким, временами срывающимся в фальцет тенором и взмахнул длинными руками.

— Ребята, — взволнованно и неожиданно серьезно сказал он, обрывая песню, — вот мы будем так итти, итти и придем прямо в коммуну? А?

Никто не решился засмеяться.

В другое время Величкину такая пылкость показалась бы неискренней и напыщенной. Даже сейчас, когда кто-нибудь исступленным, неестественным голосом выкрикивал лозунг или ругательство по адресу Чемберлена, Величкину иногда хотелось схватить кричащего за плечо и остановить.

Демонстрация вышла на Поварскую. Первые шеренги сгрудились перед серым молчаливым особняком посольства. Толпа уперлась в красноармейский барьер. Ветер колебал флаги и раскачивал бронзовое пламя оркестров. На панели толпилась любопытствующая публика, и из вторых этажей выглядывали девушки. Одна в желтой майке стояла на подоконнике, рискованно перегнувшись над улицей. Нескромный ветер шевелил ее волосы и темную юбку. Девушка прижимала вырывающийся подол к коленям и улыбалась. Величкин взглянул на нее, встретил ее доверчивый и любопытный взгляд, и вдруг неловкость и ощущение театральности пропали. Он был такой же, как все, их был миллион, и они могли сделать все.

Величкин с веселой злостью закричал что-то неразборчивое и вместе с другими протянул к особняку черный промасленный кулак.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Постучав в дверь ребром пятака, Величкин вошел, не дожидаясь ответа.

Хотя Зотов приехал только несколько часов назад и сразу после приезда ушел на демонстрацию, в комнате уже лежали серые пласты густого табачного дыма.

Зотов умывался из обветшалой эмалированной миски. Голый до пояса, он внимательно рассматривал в зеркале свое отражение. Его тело нравилось ему. Зотов с удовольствием набирал в пригоршни холодную воду и, рассыпая ее на некрашенный пол и на стены, звонко шлепал себя по волосатым, монументальным плечам, по твердому, отчетливо размежеванному животу. Легкие задористые струйки сбегали с его крутой спины. Зотов встряхивался и фыркал, как лошадь, подымающая намокшую длинную морду из ведра. Подражая виденному в цирке атлету, он закинул руки за голову и, насвистывая невообразимый мотив, в такт поигрывал сильными мускулами, раздувавшимися как резиновые мячи.

Величкин радостно потряс мокрую руку Зотова. Он хлопал своего друга по намокшему затылку, отходил в сторону, сощурившись, рассматривал Иннокентия издали и снова подходил. Зотов наспех обтерся серым холстинным полотенцем и, не надевая рубашки, сел на кровать.

Друзья не обменялись ни одним из банальных и неизбежных приветствий. Они не спрашивали—«как живешь?» и не пытались узнать: «как твои дела?» Вместо

этого Зотов, откинувшись на подушку, стал рассказывать о своей работе на крупном южном заводе. Он говорил по обыкновению обстоятельно и подробно, не опуская ни цифр, ни дат, ни технических терминов и деталей.

Но хотя речь шла о предметах, очень интересовавших Величкина: о конвейерах, рационализации предприятий, о новых машинах и тарифах,—он вместо того чтобы слушать, в двадцатый раз слово за словом обдумывал сегодняшний разговор.

— Иннокентий, — сказал Величкин, неожиданно перебивая Зотова, — для чего ты учишься?

— Что ты хочешь этим сказать? — удивился Зотов.

— Очень просто: для чего ты поступил в институт. сдаешь зачеты, много работаешь, едешь вот на практику, чертишь, читаешь учебники? С какой целью ты все это делаешь? Просто для собственного удовольствия? Или чтобы потом получить хорошую должность?

Зотов встал с кровати, надел рубашку и аккуратно оправил на ней все складки. Он закурил, выбросил спичку в форточку и сел на подоконник.

— Вот для чего я учусь, — сказал он, — я намерен стать настоящим человеком.

— Что такое настоящий человек? Это — настоящий коммунист или еще что-нибудь?

— Настоящий человек, разумеется, прежде всего коммунист. Но одного партийного билета недостаточно. Нужно еще уметь делать настоящую работу.

— В переводе на русский — быть инженером? — спросил Величкин.

— Приблизительно.

— Да не приблизительно! Я ведь тебя отлично знаю. По-твоему, кто не инженер, тот вовсе и не двуногое, а так, ерунда какая-то. Я вот, например.

Величкин отщипнул клочок покрывавшей стол промокательной.

— Ты — народник. — спокойно сказал Зотов. — Светлая личность! Тебе бы отрастить длинные волосы, пенсне на черном шнурочке и поезжай хоть в самые шестидесятые годы.

— Это потому, Иннокентий, что я работаю в цеху и не хочу учиться на инженера?

По всему, — отрезал Зотов.

— Ладно, прения пока отложим. Стало быть, только ради такой цели ты карабкаешься через всю эту музыку?

Величкин широким жестом указал на комнату. Зотов с любопытством оглянулся вокруг, как бы ожидая увидеть что-нибудь новое и неожиданное. Но он только в тысячный раз увидел свисающие лохмотьями обои, беспредельную и выжженную пустыню стола, смятую постель, где складки одеял громоздились, как горные хребты.

— Да, здесь паршиво, — согласился Зотов. — Но я здоровый, как чорт, и для меня это пустяки! — Зотов с силой затянулся, досасывая папироску. — Я решил так, — продолжал он, выпуская дым кольцом и протыкая эти кольца папиросой. — Сперва кончу институт с тем, чтобы знать не меньше любого другого, самого знающего студента. Потом прочту по своей специальности все книги, какие только напечатаны за последние четыреста лет. А третье — я сам выдумую что-нибудь новенькое.

— План почтенный. Все это затем, чтобы быть хорошим советским инженером и настоящим коммунистом? Правильно я тебя понял?

— Я же сказал, что правильно.

— И ты говоришь это твердо и откровенно?—В голосе Величкина звучали почти симфонически-торжественные нотки.

— Что за глупости?—нетерпеливо спросил Зотов.— Когда это я с тобой говорил не откровенно.

— Не сердись, Иннокентий. От твоего ответа очень многое зависело. Но я, конечно, не сомневался, что ты ответишь именно так.

— Я не понимаю ни чорта! Говори толком, в чем дело!

Зотов резко открыл окно, с силой вышвырнул окурок и потер рукой колено.

— Сейчас, — сказал Величкин. — сейчас я скажу толком. — Он молча прошелся по комнате, осторожно обходя два зотовских стула. Зотов услышал, как билась о стекло и гудела большая зеленая муха.

— Скажи, — начал наконец Величкин, — скажи, старик, что, если бы тебе начать свой план с конца?

— С конца?

— Да. Начать не с книг, написанных за последние 400 лет, а с выдумки своего.

— Что можно выдумать свое, не зная о старом? Открыть давно открытую Америку? Право, не стоит.

— Ну так вот что. Скажу прямо. ошупью и случайно я набрел на очень значительное изобретение. Предлагаю тебе работать над ним вместе.

Величкин остановился напротив Зотова и заложил руки в карманы.

— Это дешевый розыгрыш, Сережа. Если уж ты хотел меня купить, выдумал бы что-нибудь поправдоподобнее. Изобретения не падают с веток, как яблоки. И чего ты там изобрел? Самозакрывающуюся банку для мыльного порошка?

— Экий ты чудак! Ну, так вот послушайте, товарищ Зотов. Я приблизительно додумался — подчеркиваю: приблизительно — до нетупящегося резца. Понял ты?

— Понял. Кстати сказать, мой покойный дядя Осип тоже «приблизительно» изобрел машину вечного движения. Но, очевидно, дорога на тот свет оказалась короче дороги от «приблизительно» «до точно». Тоже был умный человек. Нет, брось дурака валять!

— Если среди нас, присутствующих, и есть дурак, то это не я. Лаврентьич. последний раз спрашиваю: хочешь вместе крутить шарманку или не хочешь? И не виляй хвостом, а отвечай прямо!

Зотов обернулся и взглянул на улицу. Он понял, что Величкин говорит серьезно.

Переулок, в котором жил Зотов, какой-то злой шутник остроумно назвал Прямым. Звание Горбатого, пожалуй, лучше подошло бы к нему. Он изгибался трижды на ста шагах.

Милиционер и двое дворников вкладывали в пролетку подобранного с тротуара пьяного. Это было легкой задачей. Когда человека в синем френче окончательно всаживали на место, он вдруг неожиданно вскакивал, воздевал руки к небу и, нагнувшись, валился то на одну, то на другую сторону, так что попеременно то длинные его руки, то ноги в блестящих сапогах безжизненно падали на мостовую.

Зотов равнодушно отвернулся от этой привычно-сцены и, оставляя насмешливый тон, сказал:

— Расскажи подробнее, в чем дело.

Величкин молча закурил, и спичечный коробок в его руках щелкнул, как кастаньета.

— Итак, что же мы видим? — еще раз спросил Зотов. — Чем этот вечный резец разнится от простого русского резца?

— Я сказал не «вечный», а не тупящийся. Это. Иннокентий, весьма существенная разница.

— Не вижу таковой.

— Очень просто. Он будет снашиваться, стачиваться постепенно, в течение всего дня. Его не нужно будет затачивать через каждые сорок минут. Но через некоторое время, может быть, к концу недели, он все-таки будет окончательно негоден.

— Новый металл, что ли?

— Да, новый металл было бы здорово. Но то, что я выдумал, не требует никакого нового металла. Видишь ли, меня с первых дней работы поразила эта глупейшая затрата времени. Почти пятая часть рабочего дня уходит на возню с резцом. Он затупляется чорт знает как часто. Наши механические заводы выпускают продукции на четверть меньше, чем могли бы. Ты знаешь, какую гибель миллионов пожирают резцы?

— Вероятно, порядочная цифра. Хотя я над этим никогда не задумывался.

— Порядочная цифра? 120 миллионов звонких золотых рублей каждый год, — вот что это такое! Ежегодный Волховстрой гибнет на токарных станках!

— Да, это сильно.

— Еще бы! Но погоди. Почему резец после того как затупился, негоден и не берет металла?

— Потому что стал тупой, — усмехнулся Зотов.

— Да, это метко замечено. Но я не в эту сторону гну. Он негоден потому, что его острие закруглилось, потеряло свою, богом данную форму. Понял ты?

— Точно так.

— Значит, задача состоит в том, чтобы сделать резец, который, и снашиваясь, по мелочам тупясь, все же не терял бы своей формы.

Величкин чертил пальцами по зеркалу, как бы записывая свои слова.

— Ты обращаешь когда-нибудь внимание на лист? — спросил он.

— Какой еще лист?

— Обыкновенный древесный лист.

— Нет, признаться, не приходилось.

— Если его разрывать по поперечным прожилкам, он станет все время уменьшаться, не теряя первоначальной формы. Вот в этом и будет секрет нашего резца. Мы сделаем его из многих, наложенных один на другой слоев стали. Один изнашивается, но тотчас же ему на смену выглянет другой, точь-в-точь такой же формы. Сношенное острие будет автоматически замешаться новым.

— Тут потребуется масса расчетов и вычислений, — задумчиво сказал Зотов.

— А то как же? Работки годика на два, на три! Никак не меньше... Но стоит поработать, Иннокентий. Знаешь, миллионы станков гремят день и ночь во всех концах республики, вытачивая тяжелые снаряды и ажурные

зубчики хронометров. На четверть удлинить их работу — это же великая вещь!

— Да, — согласился Зотов. — О таком изобретении, осуществившись оно, не станут шуметь газеты. Оно им не по зубам. Все слишком специальное и непонятное кажется им мелким. Им, видишь ли, подавай солнечный двигатель, никак не меньше. Но этот резец был бы, конечно, эпохой в технике.

— И притом эту эпоху выдадим миру мы с тобой, братишка. Мы вытащим ее из жилетного кармана и пред'явим как входной билет в клуб Эдисонов.

— Честолюбивые мечты, — потягиваясь, сказал Зотов.

— Нет, — Величкин сразу заволновался. — никакого честолюбия!

Он помолчал немного и оторвал новый кусок бумаги.

— Помнишь, Иннокентий, — продолжал он, — как мы вызвались в подрывную команду, взрывать мост?

— Да, этот мост мне памятен. — сказал Зотов.
Под Никоподем.

— Вот, вот. Помнишь, мы ползли по мокрой ночной траве, а рядом с нами лизал землю прожектор. Мы забились в канаву, помнишь?

— Да помню же!

— И знаешь, о чем я тогда думал? Не о том, что нас могут убить или взять в плен, главное не о том, что мы делаем большое настоящее дело, а о том, что моя фамилия будет в приказе по дивизии и в газетах. Дурак ведь, правда?

— Почему же дурак? Каждый хочет не быть пешкой.

— Каждый? Но мы с тобой, Иннокентий, не каждые. Мы коммунисты — ты и я. Сама по себе работа, участие

в борьбе должны быть для нас высшей наградой и счастьем, а не ордена, не слава. Нет, личное честолюбие — пустяки. И это я понял еще тогда и тогда перебором в себе эту младенческую болезнь. Знаешь, — сказал Величкин, — недавно я разговаривал с... с одной девицей. И сказал ей, что если мне придется сделать что-нибудь стоящее, какую-нибудь хорошую работу, я даже имени своего не подпишу.

— Ну и поступишь как дурак. Вообще все это — сплошная интеллигентщина. Не можете вы просто жить, работать и достигать, не отравляя воздуха высокопарной философией.

— Еще вопрос, кто из нас больше интеллигент: ты, который уже год состоящий в студентах, или я..

— Ты можешь и еще двадцать лет проработать на заводе и все-таки останешься настоящим тонконогим интеллигентом. И что бы ты ни говорил, я знаю, в глубине души у тебя прочно сидит желание наделать шуму в мире. Только ты сам себе в этом не признаешься.

— Ладно, не будем ругаться, — сказал Величкин примирительно. — Лучше скажи мне, работаем мы вместе или нет?

— Не знаю, — ответил Зотов. — Я должен подумать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Иннокентий Зотов приехал в Москву осенью 1923 г., чтобы поступить в один из технических вузов. Этой осенью для него и закончился широкий юношеский отрез пройденной дороги.

С четырнадцати лет для Зотова слова «комсомол» и «жизнь» были синонимами. Встречая человека, он не спрашивал «как живешь?», а говорил: «где работаешь?» Но этой осенью старая гимнастерка обузилась на нем и стала тесна. Бессменный жуликоватый управдел губкома в последний раз выписал ему паек ядовитого, сильно действующего сыра и скрепил его командировку большой печатью. Широкая жизнь без берегов и без пленумов губкома развертывала перед ним безразличные об'ятия. Пришла пора перейти на хозрасчет и показать, сколько стоит Иннокентий Зотов.

Зотов, как и тысячи других, как и все поколение, знал до того только одну Москву (он видел ее по дороге на западный фронт), так же как и одну только Россию. Страна мешочников и агитпунктов, печек-буржук и комбедов была для них единственной реальностью, а мягкие шляпы и рестораны—абстракциями из учебников археологии. Но Зотов не был ни обижен, ни ущемлен открывшимся ему новым, насурмленным и раззолоченным лицом Москвы.

Может быть, Москва 23-го года и была еще полнищенским городом. Но после уездной базарной площади, где крестьянские телеги, задрав к небу вопиющие оглобли, утопали в навозе, все эти розовые рыбы которые раскинулись в витринах, как голые девушки на пляже, женщины в ярких похожих на афиши платьях, даже самый запах асфальта и бензина, трудовой будничной запах понедельничной Москвы показались Зотову непревзойденным великолепием. Хотя на нем были арханческие, свистящие брезентовые штаны и вовсе не было шапки, он не ругался, не злобствовал и не

жимал кулаков при виде дефилирующих по улицам персонажей плакатов. Ему нравился этот новый город, расположившийся в старых, горбатых переулках, сочный, как невзрезанный арбуз.

Зотов не кончил курс учения нигде, кроме приходской школы. За последние годы он, правда, изрядно почитывал и мог назваться развитым человеком. Он, например, поставил себе целью в короткий срок овладеть литературной речью и, действительно, достиг этого. Но четыре таинства арифметики, не говоря уже о десятичных дробях, рисовались ему смутно, из тумана.

На первый курс его зачислили по командировке, без экзамена, и теперь ему оставались сущие пустяки. Предстояло только в один год изучить все, на что в обычной средней школе тратят 7—9 лет, да еще к осени сдать по крайней мере полагающийся минимум зачетов, чтобы не отстать от других и подняться в следующий курс.

Трудность этой задачи не особенно страшила Зотова отчасти потому, что он неясно представлял себе ее размеры. Самое слово «учеба» не вызывало в его мозгу никаких реальных ассоциаций. Это было нечто неопределенное и заманчивое, что-то в роде теплого душа. К тому же на заводе, в армии и в комсомольских комитетах Иннокентий привык считать, что всякую работу, какую может сделать другой, исполнит и он. В губкоме знали, что Зотов никогда не отказывался ни от какой «нагрузки».

— Стране нужны инженеры,—говорил Зотов, когда его спрашивали о причинах выбора именно данного вуза.—Если бы потребовались дрессировщики слонов, я бы поступил в Зоологический сад, к Бим-Бому.

Если же собеседник указывал на то, что стране нужны и агрономы, и статистики, и доктора, и даже, как это ни странно, педагоги, Зотов отвечал неопределенно:

— Все-таки промышленность — основное. И мне лично завод как-то ближе, чем ветеринария.

Все эти расспросы он считал нестоящей болтовней. С детства Зотов привык к мысли, что если и стоит на кого-нибудь учиться, то только на инженера. Инженер держал в своих замшевых руках судьбу многих сотен рабочих и железных всемогущих машин. Он командовал стихиями и мартеновскими печами. Бога бы нужно рисовать в церквах не с длинной марксовой бородой, а в технической фуражке и бритого.

Учиться было трудно. Выспрашивать раз'яснения у товарищей Иннокентий не хотел. Этим он бы сразу определил себя в приниженное и ложное положение. Один, локтями и зубами прорывал он дорогу сквозь дебри логарифмов и дремучие чащи тригонометрических треугольников. Вдвоем с Сергеем дело пошло бы иначе и легче. Сергей знал все на свете и, конечно, помог бы ему. Но Сергея не было.

Зотов любил помногу и вкусно есть, долго и мягко спать, любил девчонок, танцы и веселую компанию. А вместо этого нужно было жить одним скудным студенческим супом да пустым чаем, много работать и спать пять часов в холодной жесткой постели.

С вечера Иннокентий отмечал, сколько из какого учебника пройти на завтра. Начинал он с самых трудных и затем переходил постепенно к более легким, заканчивая политической экономией. К концу дня он

нной раз колотил себя кулаком по голове, чтобы всгрянуть онемевшие мозги и принудить их дотянуть до конца.

В общежитии было беспокойно и шумно. То парни приставали с дружескими шутками или шашками, то девицы чересчур сильно хлопали его по плечу и взвизгивали, точно он их щекотал или обливал водой. Зотов знал, что это просто одна из манер ухаживания, но ему некогда было заниматься любовью, кинематографом и дружбой. Спасаясь от этих неудобств, он и поселился в Прямом переулке, в маленькой холодной комнате с таким низким потолком, что, приподнявшись на носках, он касался до него макушкой. Выбитые стекла на ночь затыкались кожаной курткой.

Почти все студенты служили в учреждениях или промышляли уроками и поденщиной. Одни выгружали на вокзалах обледенелые дрова и липнущее к рукам, промерзшее железо, другие брошюровали книги в типографиях. У Зотова не было времени и на это. Вечера и праздники были нужны ему самому, и он не мог жертвовать ими ради каких-нибудь топливных трестов. Он растягивал стипендию на месяц, и она, как короткое дырявое одеяло, соскальзывала то с плеча, то с пяток.

Впрочем, однажды Зотову пришлось урвать несколько ночей на работу. Это произошло, когда ботинки окончательно отказались скрывать природный цвет зотовской кожи и даже выдавший виды студенческий сапожник отступился от них, заявив, что «о починке не может быть и речи». Вдобавок к этому же времени Зотову непременно понадобилась готовальня.

Нужно было итти счищать снег с крыш.

Зотова привязывали длинной веревкой к дымовой трубе и вручали ему широкую деревянную лопату с выщербленными краями. Стоя почти по пояс в рыхлом предвесеннем снегу, он отрывал глыбины и сбрасывал их вниз. Снег рушился с грохотом альпийского обвала. Марлевые полосы легкой морозной пыли протягивались от мостовой до закраины крыши. Около похаживал дворник, предостерегая редких ночных прохожих и заставляя храпящих на козлах ночных извозчиков жаться к противоположному берегу улицы. Время от времени этот мужчина в тулупе подымал голову и, зевая, без всякого воодушевления кричал Зотову:

— Эй, студент,—орал он,—ходи умнее!

Зотов старался и в самом деле ходить умнее, чтобы не сорваться с обледенелой крыши и не повиснуть на непрочной мокрой веревке между пятым этажом и Арбатом.

Зотов работал один там, где обычно трудилась целая артель хилых студентов или отощавших безработных. Утром он отряхивал куртку, умывал лицо и руки снегом и, спрятав в боковой карман пять рублей, шел на лекцию.

Под пасху из дому от стариков пришло письмо

Женьку взял Мартьянов из вагоно-ремонтного завода. Свадьбу сыграли весело, хотя без попа. Молодым от ячейки поднесли кувалду. Конечно, кувалда в хозяйстве не бог вещь какая нужная штука, но дорог почет.

Далеко позади описания свадьбы сообщалось то главное, ради чего и было затеяно письмо.

У отца стали подгибаться и дрожать ноги. А в его деле это, конечно, не резон. (Отец Иннокентия служил сцепщиком на железной дороге). Его, правда, оставили ночным сторожем при депо, но какой же заработок у ночного сторожа? Вся надежда теперь на него, на Иннокентия, как он в Москве, а раз в центре, в городе Москве, то значит какой-нибудь очень высокий комиссар и уж наверное не оставит под старость отца и мать и малолетних братьев, как и его не оставляли, а кормили, учили и довели до дела. А то ведь приходится все с себя продавать и даже вплоть до стальных часов-ходиков.

Старики не писали Зотову три года, и, верно, уж очень туго им пришлось, если отец вложил в конверт такое письмо.

Стариковские слезы соленые, едкие, они не облегчают и не уносят в своих потоках горе, а камнем ложатся на сердце

Лаврентий Зотов всю жизнь из трех копеек одну клал на книжку, чтобы в сумерки не зависеть от детей, а спокойно, сидя со старухой на терраске, пить чай с вишневым вареньем и гонять голубей, до которых был он всегда великий охотник. Однако сберегательные кассы несвоевременно сгорели в восемнадцатом году, а жалованья ночного сторожа не только что голубям, самим нехватало.

Иннокентий жалел стариков. Его умиляло их горестное доверие и наивная лесть. Он живо представлял себе, как отец в больших, связанных ниткой очках медленно рисует тяжелые, сучковатые буквы, а мать с тревожной надеждой заглядывает через его плечо на бумагу, покрывающуюся загадочными и всемогущими значками.

Комната опустела, а от часов осталось только светлое пятно на обоях, словно след ушедшего на мягкой земле.

Но для того, чтобы помочь родителям, нужно было время. Время, время! Его и так было слишком мало. От недостатка часов можно было задохнуться, как от недостатка кислорода.

Нужно было бы служить, чтобы помочь старикам. Это значило навсегда, на всю жизнь остаться мелким полуграмотным чиновником с двухсотрублевым пределом месячных желаний. Это было не по нем. Его ждали дифференциалы, а за ними сама жизнь, соблазнительная и доступная.

Нет, конечно же, Зотову и самому было тяжело в этой постылой нетопленной клетке с замерзшим окном и немывтым полом. Но это был порог, а дальше начинался Кузнецкий, где блестили брильянты в ювелирных витринах, где женщины шумели пышными платьями и взывали покорными глазами о хозяине.

Зотов ответил старикам письмом, коротким и жестким, как «нет».

Когда письмо было кончено и запечатано. Зотов подошел к окну. Стекло едва сдерживало натиск темноты. Близко, над крышей противоположного дома, покачивалась луна. Фонари затмевали ее, и она горела слабо, как тусклая, засиженная лампочка в уборной. Зотову очень хотелось отправить в баню незадачливое светило.

Глядя сверху на город, Зотов вспомнил день своего приезда в Москву. В ноздрях Зотова почти окаменел тогдашний возбуждающий, утомительный запах большого города, дразнящий запах асфальта и легкой жизни.

Конечно, именно этот день был поворотным, как бы днем солнцестояния, в жизни Зотова. Теперь Иннокентий это понимал.

Но, если так, почему же вот теперь, спустя целый год, он все еще тот же Зотов?

Никто, кроме ответственной с'емщицы не зовет его по отчеству, и он не может даже послать несколько червонцев старикам.

«А все-таки, старая карга, — пробормотал Зотов, мысленно похлопывая город по добротному животу, — все-таки я задеру твою юбку. Увидите, — обратился Зотов к оконному стеклу и шеренгам уличных фонарей, — увидите: Иннокентий Зотов будет-таки спать на мягкой постели!»

Зотов сжал и поднял кулак. В это время под дверью слышались чьи-то шаги. Иннокентий поспешил перевести свое движение на другое, обыденное и робкое: он откинул волосы со лба. В комнату однако никто не вошел. Зотов лег спать.

Снова потянулись одинаково скроенные недели, отличающиеся друг от друга только количеством прочитанных страниц.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Минула уже неделя и другая, а Величкин все не мог добиться от Зотова удовлетворительного ответа. Величкин начал бы работать один, но для этого у него нехватало технических знаний. Сложные вычисления и формулы были ему не под силу, а работать с кем-нибудь еще, кроме Зотова, он не хотел.

Величкин попрежнему много занимался в библиотеке и, к огорчению Елены Федоровны, возвращался домой очень поздно. Правда, библиотека закрывалась в девять часов, а собрания на фабрике тоже редко оканчивались позже этого времени, но с некоторых пор Величкин пристрастился к вечерним прогулкам и выставлял в защиту этой новой привычки множество гигиенических доводов. Станным образом эти прогулки всегда приводили его к одной и той же точке земного шара — к Покровским воротам. В этой же точке, хотя на плане Москвы и не было соответствующего обозначения, жила... ну, скажем так: жил Валентин Матусевич.

Самого товарища Южного Величкин не видел почти никогда. Валентин приходил домой только ночевать, а если он случайно и возвращался раньше, то немедленно принимался рассказывать о том, как у него много работы, как редактор все свалил на него и как даже верблюд не снес бы такой клади. Он говорил при этом «редактор», «верблюд», коверкая и эти и другие слова, чтобы подчеркнуть свое ироническое отношение ко всему в жизни и даже к собственным мыслям и речам.

Общество стариков Матусевичей тоже не сулило Величкину никаких приятных неожиданностей. И все-таки он регулярно каждый вечер взбирался по крутой каменной лестнице этого дома с балконами. Он со стоической вежливостью терпел и шесть стаканов чаю и политические рассуждения Соломона Матусевича.

— Почему они не отдадут Сибирь японцам? Я бы давно отдал Японии всю Азиатскую Россию до Урала,— говорил старик, сердито протирая пенсне.

— Зачем же непременно японцам? — робко спрашивал Величкин.

— Японцы — честный и трудолюбивый народ, живущий в страшной тесноте. А у нас эта огромная страна все равно пустует зря,—отвечал Соломон Андреевич.

Все это было очень тяжело, но рядом сидела Галя.

По воскресеньям Величкин неизбежно каждое утро оказывался подле телефона. Еще снимая трубку с рычажка, он не знал, с кем станет разговаривать. Но как только невидимая женщина раздраженно выкрикивала свой номер, он немедленно, почти автоматически произносил: 2 - 12 - 22. Иногда к аппарату подходила Галя.

Но хотя они виделись почти ежедневно, подолгу гуляли, разговаривали и молчали, их отношения не двигались дальше обычной дружбы. Если бы дело шло о минометной и быстро забывающейся встрече, какие бывали у Величкина, как и у всех его сверстников, ставших взрослыми раньше собственных подбородков, дело обстояло бы иначе. Но, к несчастью, сам того не зная, Величкин захворал настоящей, большой и архаической любовью, той самой, которую как-раз около того времени с таким жаром и убедительностью отменяли авторы многочисленных романов и ораторы еще более многочисленных диспутов.

Величкин познакомил Зотова с Галей, и теперь Зотов посещал Матусевичей не реже, чем сам Величкин. Это обстоятельство сперва только радовало Сергея. Ему было приятно, что двое его лучших друзей понравились друг другу. Но очень быстро радость его уступила место совсем иному чувству. Величкин знал,

что, хотя Зотов и мало занимается женщинами, они благоволит к нему. Он находил это естественным и понимал, что чем чаще Зотов видится с Галей, тем ниже падают его собственные шансы.

Они сидели втроем на маленьком балконе. Синие легкие молнии срывались с трамвайных проводов и ударяли в край бетонного карниза. Опрокинутая улица гудела, как передовая линия прибое или как молотилка.

Зотов сидел на узких железных перилах, спиной к четырех'этажной пропасти. Галя то-и-дело с опаской поглядывала на него. Ее пугала эта рискованная поза.

Разговор скучно тянулся через поросшую сухим ветром степь, не задерживаясь ни на каких значительных предметах. Обсуждали или, вернее, перечисляли литературные новинки, последние кинематографические и театральные постановки.

Зотов категорически заявил, что он против всего этого рифмованного нутья, называющегося стихами, поэмами и еще чорт знает как. Оно, по его словам, действовало на него хуже, чем ночной шум трамваев. Поэты — это бездельники в рваных ботинках. Им не следовало бы предоставлять жилплощадь.

— Вы признаете одну свою технику. Зотов?—спросила Галя.

— Что ж, для мужчины это единственная возможная профессия. Стихи и всякое иное музыкальничанье мы должны предоставить женской половине человечества.

— На большее мы не способны?

— За редким исключением. Например, у вас, Галя мужской ум. Но для женщины это совсем не обязательный предмет. Иногда он даже мешает.

— Право, Иннокентий, — сказал Величкин. — тебя следовало бы отдать на дрессировку в женотдел.

— Только не это! — Зотов со смелым испугом заклонился обеими руками, как бы отводя нависшую беду. — Только не женотдел! Это ведь суррогат женщин, неполные мужчины!.. Они просто ужасны! Я уж лучше тогда прямо сразу брошусь вниз головой! — и Зотов резко обернулся к улице, точно намереваясь и в самом деле исполнить свою угрозу.

— Бросьте. — воскликнула Галя, бледнея. — Зачем эти глупые шутки! — Она схватила Зотова за плечо. — Слезьте!

Величкин отвернулся.

— Галя, — сказал Зотов многозначительно, — вот я сказал: суррогат. А как вы относитесь к суррогатам?

— Ненавижу их!

— Во всем?

— Во всем!

Величкин напрасно старался не слушать и не слышать. Сейчас надо было встать и уйти. Он знал, что Зотов ждет его ухода, что сидеть дольше слабость, но встать все-таки не мог. А ведь вот уже при нем они чуть не обнимаются и уверяют друг друга, что их любовь не суррогат, а настоящий товар..

Ну что ж! Он не станет визжать, как собачонка, которой обрубил хвост. Ревность—мелкое и гадкое чувство. Нужно уметь во-время отойти в сторону. У него остается работа. изобретение. Этого больше чем достаточно.

Лучше прокусить язык, чем позволить вырваться на волю бледному стону или краснолицему гневу.

Воображение, с расторопностью хорошего аптекаря, запечатывало хинные мысли в сахарную оболочку. Трогательные и грустные картины проплывали перед Величкиным.

«Будьте счастливы! — говорит он. — Идите своей дорогой, а я пойду своей. Но ты, Галя, знай, что в нужную минуту у тебя найдется настоящий друг...»

По спиральным лестницам мечтаний Величкин подымался все выше, пока какой-то вопрос Зотова, кажется, о времени или о спичках, не сорвал его с янтарной высоты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Достижимы все стремления.

Гёте

Тщательно обдумав предложение Величкина, прочитав несколько книжек и просмотрев много справочников, Зотов после трехнедельного размышления согласился работать вместе. Думал и колебался он долго, но, раз придя к твердому решению, сразу же погнал изобретение с той же рекордной резвостью, с какой последние три года гнал учебу.

Самое выражение «свободное время» потеряло всякий смысл для Зотова и Величкина. Изобретение не отпускало их даже на минуту, и время было занято все. Даже когда, по видимости, Величкин занимался совсем другим — обедал или участвовал в собрании — он часто совершенно неожиданно, между двух ложек супа или

двух пунктов резолюции хватал записную книжку и заносил в нее внезапно прояснившуюся деталь работы.

То, что работали они вдвоем с Зотовым, особенно радовало Величкина.

«Ага, — говорил он, с торжеством тесня невидимого противника, — ты врал, что я глупо ревную, что для меня чуть ли не смысл жизни в Гале, так вот же тебе! Смотри!»

Изобретение невозможно было взять с налету, прыжком. Работа походила на бессмысленный и гениальный труд китайца, из трех граммов слоновой кости выпиливающего джонку со всеми подробностями исправных снастей и аккуратно одетым экипажем. Борьба предстояла длительная и мелочная, с тысячью непреодолимых булавочных препятствий.

Первоначальный план был задуман неправильно, и дело началось не с того конца. Зотов и Величкин поставили себе целью прежде всего установить угол, под которым спаивать тонкие пластинки, составляющие их будущий резец. Но после долгих и трудных вычислений выяснилось, что определить угол, пока неизвестны форма и толщина пластинок, невозможно. Четырехмесячная возня оказалась напрасной, и в январе Зотов и Величкин пересмотрели свой план. Теперь они решились для начала вычислить толщину пластинки. Теоретические расчеты здесь были бесполезны. Необходимо было установить, какой слой стали стачивается с обыкновенного резца за один оборот, измерив резец до начала работы и в момент затупления, а затем разделить полученный результат на число оборотов.

Повторив эти измерения несколько десятков или сотен раз, изобретатели и должны были получить нужный

результат. Все измерения они решили производить пока в расчете на самую дешевую и распространенную углеродистую сталь, с тем, чтобы потом, найдя для своего резца оптимальный материал, произвести необходимые пересчеты.

При измерении ошибка в толщину волоса оказалась бы грубейшим промахом. Ни циркуль, ни кронциркуль не могли дать нужной точности. Требовались дорогие, многочисленные инструменты, непосильные изобретателям.

К счастью, на фабрике имени Октября имелся набор плиток Иогансона. По чести говоря, текстильная фабрика в нем не нуждалась. Но во всяком случае набор существовал, и Величкин знал об этом. Этот нежнейший и драгоценный инструмент очень берегли. Он как бриллиантовое кольцо покоился в красивом, подбитом синим плюшем футляре.

Добыть разрешение пользоваться этой ненужной гордостью заводской лаборатории само по себе уже являлось незаурядной работой. Величкину пришлось ради недельного права на инструменты пустить в ход все свои знакомства, влияние Данилова, лесть и чуть ли не подкуп.

Когда разрешение было получено, Величкин каждый вечер оставался в цеху надолго после гудка. В пустынном просторном корпусе только кое-где маячили редкие сверхурочные тени.

Каждую деталь работы Величкин записывал на длинные узкие листки бумаги, в роде тех гранок на которых пишут газетные репортеры. То-и-дело он останавливал станок и, вытащив резец, бежал в инструментальную, чтобы, приложив инструмент к микрометру,

записать новую цифру. Он выходил из фабричных ворот не раньше одиннадцатого часа. Дома его уже ждал Зотов. Сидя за столом, он внимательно просматривал и исправлял вчерашние вычисления.

Как только Величкин отряхивал снег с сапог и с фуражки и осторожно извлекал из глубокого внутреннего кармана замасленные и замусоленные гранки, друзья молча садились за работу.

Елена Федоровна бесшумно ставила перед Величкиным тарелку с куском холодной, телятины и уходила в свой угол. Долгие вечера сидела она там, уронив на колени книгу или вязанье, глядя затуманенными глазами на Величкина. Она всеми силами ревновала его и к этому изобретению, и к Зотову, — они отнимали у нее сына еще в большей степени, чем это делала до сих пор загадочная фабрика. Сергей мог быть изобретателем или уголовным преступником — это было его дело, но пить молоко и во-время ложиться спать он был обязан.

Между тем ей было совершенно ясно, что он переутомляется и надрывает себя из-за этого изобретения. Вычисления затягивались иногда до двух часов ночи. Зотов мог вставать в восемь и, если пропускал первую лекцию даже в девять. Величкину же нужно было ежедневно в семь часов утра вешать свой номер на контрольную доску.

Иногда Величкину и самому казалось, что он снова живет в дни больших походов когда ему случалось засыпать на ходу, ступая по осеннему расплывающемуся чернозему курских проселков, и пробуждаться, толкнувшись лбом о шинель идущего впереди. Иногда во время важного разговора, на собрании или в трамвае,

он вдруг впадал в оцепенение мгновенного спрессованного сна. Этот сон был как провал в черную пропасть в дыру колодца.

— Я не люблю, чтобы меня шибал грузовик,—говорил Величкин.—но это со мной случится, когда я захраплю, переходя Лубянскую площадь.

По воскресеньям удавалось отсыпаться за всю неделю.

Под голубым стеганым одеялом было тепло, как в барсучьей норе. Подогнув колени почти к подбородку, Величкин до двенадцати нежился и блаженствовал в полотняном раю согретых телом простынь.

Сначала друзья пытались и по воскресеньям работать с семи утра, но, после того как Величкин несколько раз вместо нужных цифр продиктовал Зотову какие-то лозунги, они пошли на уступку слабой человеческой природе.

Как основным воспоминанием, как бы фоном всех событий и происшествий времен гражданской войны для Величкина было ощущение недостаточного сна, так сейчас, что бы он ни делал, о чем бы ни говорил, куда бы ни шел под всем этим он чувствовал чертовское желание уснуть.

— Спать!—было лейтмотивом его жизни, желанием, не всегда ясно осознанным, но всегда присутствующим и окрашивающим мысли и поступки.

С Галей ни Величкин, ни Зотов не виделись. Им было некогда Величкин стал даже пропускать многие собрания которых никогда раньше не пропустил бы. Не только его всегдашний недоброжелатель, член бюро ячейки Марганов но даже Данилов несколько раз сделал ему об этом замечание.

Грудная работа пока вознаграждалась только головной болью и провалами щек. Зотов и Величкин еще не зарегистрировали ни одного серьезного успеха. Они работали молча, и только изредка, когда дело слишком не клеилось или работа двух недель оказывалась не стоящей и напрасной, Величкин тихонько ругался, опасливо поглядывая на угол, где сидела Елена Федоровна. Да еще иногда Зотов, совершенно некстати, оглашал какую-нибудь новость, почерпнутую из отрывного календаря или отдела смеси вечерней газеты. То он общал о предстоящих выборах римского папы, то о диковинном завещании чудака-миллиардера.

Один только раз они перебили работу длинным разговором.

— Ты не боишься неудачи, Иннокентий?—спросил Величкин, кладя карандаш и вз'ерошивая волосы.

— Нет, — не задумываясь ответил Зотов, — мы рассуждали совершенно точно и здраво.

— Это я и сам знаю, но ведь тут бездна трудностей. Паршивая ошибка в тысячную миллиметра может сломать все дело и вернуть нас на целый месяц. А дальше пойдут и такие вычисления, в которых я несколько не смыслю. Тебе придется управляться одному. Хватит терпения у нас с тобою на два года такой волюнки?

— Пустяки! Человек средних способностей может сделать все. Стоит ему хорошенько потренироваться, и он откроет секрет сохранения энергии или выпьет пятьдесят стаканов чаю под ряд.

— Ну, это как сказать...

— Нет, не как сказать! У нас в Благовешенске я видел в цирке любопытный номер. Выходили на арену

два китайца. Обыкновенные монголы в халатах и, кажется, с косами. Один надевал на нос небольшой, с грецкий орех, комок воска. Другой отходил на десять или пятнадцать шагов и кидал тяжелое острое копье. Бросок был рассчитан так гениально, что копье пробивало шарик, сносило его с места и не задевало, даже не оцарапывало кожи.

— Да, это шикарный трюк!

— Вот видишь! Но китайцы даже воевать как следуют не умеют и сражаются под зонтиками! Люди — никак не более, чем средних способностей и вообще средние. А мы с тобой настоящие парни, соль земли!

— Так ты твердо уверен, что через два года мы отпразднуем окончание работ в пивной «Сыты»?

— Как в том, что сейчас ты зачем-то оторвал и сжевал половину листка с цифрами скоростей,—заявил Зотов. — А знаешь, во всем мире ежегодно умирает сорок миллионов человек, — неожиданно и радостно воскликнул он. — Вот это смертность!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

За три года Зотов отлично сдал все шестьдесят необходимых зачетов. Он сдавал их всегда в первый день объявленного срока и не провалился ни разу. Но во время этой весенней сессии с ним произошла невозможная, по прежним его понятиям, вещь: он позабыл о зачете. Всего год назад он скорее забыл бы об обеде! Несколько месяцев работы над изобретением совершенно переместили центр жизненных интересов Зотова. Как раньше основным (что основным — единственным

реально существующим!) был институт с его лекциями, учебниками и семинариями, так теперь главным и единственным стержнем зотовской жизни стал резец.

Зотов принадлежал к людям, которые не способны думать о двух вещах одновременно. Они умеют жить и действовать только на узком квадрате, зная только одну цель и один путь. Заколачивая гвоздь, он все свои силы и способности сосредоточивает только на заколачивании гвоздя и морщат лоб и мысли так, словно от устойчивости этого клочка металла зависит вся их судьба. В этом их сила.

Но хотя в глубине души Зотов уже считал все институтское невесомой ерундой, сила инерции толкала его так еще властно, что последние двое суток он не ходил к Величкину и, запершись в своей прокуренной комнате, яростно читал тетради, учебники и конспекты. Однако две ночи даже самого напряженного труда не могут заменить месяц усидчивой и постепенной работы. Отправляясь на зачет, Зотов не чувствовал в себе обычной уверенности.

Встреча с Багдасаровым бесспорно была дурным предзнаменованием. Пышущий жаром грузин налетел на Зотова у самого входа в шумный коридор.

— Ты, милый друг, зачем оторвался? Совсем окончательно огорвался!— кричал Багдасаров очень громко, хотя по расстоянию можно бы говорить даже и шепотом.

Зотов стал было разъяснять свои обстоятельства, мечтал даже посетить марксистский кружок и собрания ячейки, но он успел сказать только первые три фразы, а уже голос Багдасарова слышался в другом конце коридора.

— Увязывать побежал,—усмехнулся стоящий рядом студент.

На первые два вопроса Зотов ответил хорошо и подробно. Слегка постукивая крошащимся мелом, он рисовал на доске схемы передач и колеса, изредка оборачиваясь к профессору за одобрением. Его немного смущало только то, что, отвечая, он смотрел на пузатого и малорослого профессора сверху вниз. Мешала ему и некстати вспоминаясь не слишком остроумная шутка одного из студентов об этом профессоре: «Петров-Ланской, чтобы поцеловать жену, приставляет лестницу». Но он старался говорить твердо и отчетливо, и, видимо, это нравилось Петрову-Ланскому.

Зотов положил мел и, звонко отряхнув ладони, хотел уже подать зачетную книжку, как вдруг Петров-Ланской, приподымаясь на каблуках и затем мягко переваливаясь на носки, сказал:

— Будьте любезны сообщить мне коэффициент полезного действия двухтактных двигателей внутреннего сгорания.

— Двухтактных? — зачем-то переспросил Зотов. Он почувствовал, что стоит не на устойчивых половицах, а на плохо натянутом и раскачивающемся по ветру канате. Подойдя к доске, он заговорил что-то невнятное о малом времени для подготовки, но чем дальше говорил, тем больше сбивался и тем неуверенней становилась его речь. Однако профессор терпеливо слушал и не перебивал. Он прохаживался по комнате, так тщательно приглаживая лакированные височки, точно хотел вдавить волосы в череп. Его аккуратно прочер-

ченный пробор непосредственно переходил в такой же прямой, тонкий и длинный нос. Зотов окончательно запутался в периодах и безнадежно замолчал. Профессор покачал головой.

— Вы кончили? — спросил он. — А скажите...

Он задал Зотову еще вопрос, потом еще и еще. Зотов только переключивал с места на место мел. Глядя на плоское, как вывеска, лицо профессора, Зотов думал, что Петрову трудно, вероятно, при столь малом росте вместить такую бездну учености. Когда-нибудь он лопнет... Зотов отчетливо представил себе, как формулы, определения и чертежи, прорвав живот Петрова-Ланского, льются на пол, а сам Петров-Ланской со скорбным недоумением глядит из-под очков на это печальное зрелище.

Зотову стало смешно, и он улыбнулся во весь рот.

Эта улыбка показалась Петрову-Ланскому такой неуместной и глупой, что он в комическом негодовании даже остановился на полуслове.

— Что же я сказал смешного? — обиженно спросил он.

И тут только Зотов сообразил, где он и как непристойно его поведение. Но ему уже было все равно.

Выходя из аудитории, Зотов вспомнил, что коэффициент двухтактного двигателя колеблется от 12 до 19. Об этом упоминал в одной из прошлогодних лекций Лавр Петрович Лебедуха.

Зотова и самого удивляло собственное равнодушие. Он «засыпался» и безнадежно осрамился в глазах всего курса. С каким пренебрежением этот гад Петров-Ланской сказал ему: «можете идти». И все-таки он огорчился гораздо меньше, чем вчера, когда Величкин

неосторожным движением опрокинул тушь на первый чертеж резца и работа многих дней оказалась погребенной под траурной крышкой, как под черной гробовой парчой.

Должно быть, и в самом деле институт стал прошлым. Настоящим была работа над изобретением. А будущее... О, оно придет, это будущее.

Будущее! Нет в человеческом языке другого слова, подобного этому. Оно — знамя, развевающееся над баррикадой, пароль и обещание, ракета, рассыпающаяся над темным полем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Чем глубже Зотов и Величкин продвигались вперед, тем дальше отходил от них конец работы, тем больше новых, раньше невидных препятствий перегораживали шоссе. То, что на втором километре представлялось легким или несущественным, выдвигалось из тумана трудностью первой величины. Так случилось с вопросом об угле резания. В начале работы о нем даже не подумали. Только в марте выяснилось, что без установления этого угла нельзя будет сделать резец. Открылась новая и большая задача.

Величкину много помогало его своеобразное чутье к машинам, которое в свое время и позволило ему в короткий срок сделаться хорошим шофером на «Артеме» и дельным токарем на фабрике «Октябрь». Он понимал железную душу двигателя, как мохнатый охотничий пес понимает хитрые иероглифы лесных запахов. Однажды Зотов, наполовину в шутку, задал ему

гот же вопрос о коэффициенте двухтактных двигателей, на который сам не сумел ответить Петрову-Ланскому. Пока Зотов, для наглядности, чертил типы двигателей, Величкин ломал спички и теребил свой ремень. Затем он пожевал губами и объявил совершенно правильную цифру. Зотов так и не дознался, каким способом Величкин додумался до решения.

— Вижу, вот и все. Ну, чего ты пристал? — только и ответил ему Величкин. В конце концов Зотов перестал расспрашивать и решил, что Величкин знал ответ раньше. Но он ошибался. Это было только одно из проявлений чутья.

Однако Величкину жестоко нехватало знаний. Часто, когда Зотов производил какие-нибудь выкладки и расчеты, Величкин сидел молча без дела. Правда, все их сотрудничество затем и затеялось, чтобы богатство идей и выдумок одного дополнить знаниями другого. Но это не мешало Величкину в таких случаях чувствовать себя лишним и пришибленным.

Нужно было учиться. И Величкин читал. Он читал за обедом, в трамвае, на улице, останавливаясь у пыльных сокровищниц букинистов. Он набирал в библиотеках охапки толстых кирпичных книг и вносил их в комнату, как вязанки дров. Валентин Матусевич отбирал для него и складывал на редакционный шкаф журналы и книги, присылаемые для отзыва техническими издательствами. Раз в неделю Величкин приходил за ними.

Большинство томов не сообщало Величкину ничего нового об интересующем его. Он с грохотом захлопывал их после третьей страницы. Зато некоторые, немногие. он берет и даже иногда перечитывал, чтобы лучше

освоить идеи и факты. К весне во всем, что касалось технологии стали и обработки металлов, он разбирался немногим хуже Зотова.

Одно дело, когда человек учится «вообще», всему по малости, и совсем иное, когда сведения, цифры и обобщения подбираются для определенной конкретной цели, ради одной какой-нибудь проблемы и вокруг нее. В основном это и составляет секрет превосходства академика, пишущего очередную диссертацию, над школьником, изучающим алгебру или биологию.

Величкин оброс рыжей щетиной, странно контрастировавшей с его черной головой. Синие круги под глазами вызывали многочисленные и очень язвительные насмешки фабричных комсомолок и товарищей. Мать уже перестала упрекать его и только вздыхала да покачивала головой, когда приходилось переставлять пуговицы на сделавшемся просторным белье сына.

Галю он не видел очень давно. Из лапидарных сообщений Валентина, почти диктуемых между двумя абзацами фельетона, Величкин знал, что Галю по протекции брата приняли среди года в экономический техникум.

— Ну, она, брат, совсем переменилась, — говорил всякий раз Валентин. Но в чем заключалась перемена он никогда не успевал рассказать, потому что какой-нибудь из трех телефонов издавал хрипкое и неприятное ржание. Рассказ о переменах в характере и поведении Гали Матусевич систематически откладывался до следующего свидания.

Денег на инструменты, разумеется, не было, хотя Величкин и тратил половину получки на изобретение.

Эту жалкую сумму приходилось целиком ухлопывать на плотные и тяжелые, как фанера, листы ватманской бумаги, химические реактивы, нужнейшие книги и тушь. Все окна в комнате Величкина были заставлены пустыми пузырьками из-под туши. Теперь они только отражали своими гранями редкие лучи зимнего солнца. а раньше в них хранилась сконденсированная в нескольких кубических сантиметрах вся чернота двенадцатичасовой зимней ночи. Они были наполнены расплавленными основаниями маковых лепестков. Из них черпали рейхсфедеры, чтобы после скатывать с острия на бумагу тончайшие шарики черни.

Инструменты приходилось выклянчивать или добывать хитростью Величкину на фабрике, а Зотову в лабораториях и мастерских института.

Зотову это было особенно затруднительно еще и потому, что давно миновало время, когда он числился чуть ли не примерным студентом. Ни один руководитель семинария не мог похвалиться тем, что видел Зотова за год более двух раз.

Изобретение почти превращалось в скачку с препятствиями. Вряд ли в худших условиях работал даже юный Эдисон в своем железнодорожном вагоне.

Величкин знал, что рано или поздно ему придется уйти с фабрики. Изобретение требовало его целиком. Работы была бездна. При нормальном шестичасовом рабочем дне ее смело могло хватить на добрый десяток лет. Но они не могли позволить себе такую роскошь! Нужно было кончать скорее!

Величкина не страшила потеря заработка. Он знал, что хоть впроголодь, а проживет вместе с Зотовым на стипендию. Но мать,—как быть с нею? И неужели

ради счастья чужих матерей придется сломать позднее счастье той, которая вывела его за руку в мир?

Однако это стояло еще в будущем. А сейчас нужно было работать. И изобретатели работали. Они жили в том темпе, в каком живет артист перед первой большой ролью, боксер, тренирующийся к ответственному состязанию, музыкант накануне выступления для тончайших знатоков. Разница была в одном: музыкант, чтобы намотать на колки своей скрипки нервы слушателей, терзает свой мозг и тонкие пальцы каких-нибудь две недели. Они же обрекли себя на полтора, а всего вероятней, на два года беспощадной работы. В течение этих лет у них не будет ни одной минуты и ни одного поступка своих. Все пожирает и будет пожирать изобретение.

Однако разговор об отступлении не подымался ни разу. Договор был подписан и скреплен чугушной печатью.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

(Из дневника Галлины Магусевич)

3 с е н т я б р я. Давно ли я так же отворяла окно и на ржавый подоконник легко вспрыгивала подружка-весна. Взбалмошная девчонка щекотала мое лицо своими распущенными пушистыми волосами. Она воробьиным голосом чирикала для меня лучшие из своих легких, как лепестки, песен. А сегодня в открытое окно тепло и ровно дышит ранняя антоновская осень. Желтые, полуистлевшие листья один за другим облетают с бульварных деревьев. Они падают на ворсистые су-

конные плечи, на фетровые макушки прохожих, на влажный гравий аллей, на скамейки, так отсыревшие от многих дождей, что из них ногтями можно выдирать черные крошащиеся щепки.

6 с е н т я б р я. Около этого времени в прошлом году начались занятия в техникуме. Всего год, но много за эти двенадцать месяцев переместилось в моей жизни. Я все перестелила по-новому, расставила другую мебель и оклеила другими обоями свои мысли. Год тому назад или полтора мой каждый день начинался с того, что, проснувшись, я принималась терзать себя и царапать когтями. Я обзывала себя ни к чему непригодной мразью, уездной барышней и всякими другими велестными кличками. «Что меня ждет, — думала я, — быть мужней женой? Или акушеркой? Какая мелочь, гадость. скука!»

А сейчас я живу в Москве у Покровских ворот. И самое главное, самое лучшее, я—комсомолка! Комсомолка не только потому, что мне выдали беленькую кандидатскую карточку, а потому, что это для меня новая полоса в жизни, с этим связан совершенный перелом во всех взглядах. Нет, хотя не во всех, но в одном самом главном.

10 с е н т я б р я. Все-таки первый, кто кое-чему научил меня — Сергей. Он называл это теорией винтика. Название забавное, но сущность именно такая. Никаких великих дел, необычайностей, ничего этого не нужно. А работать на своей полочке. Например, в прошлом году в техникуме из 500 учащихся было всего 60 комсомольцев. В коридорах и аудиториях все принадлежало пижонам и расфуфыренным девицам с крашеными бровями

Теперь 70% нового приема — комсомольцы. Есть даже и члены партии. Преподавание совершенно перестроили. Дальтон-план и т. п. И ведь все это взято нашими усилиями.

Здесь есть и моя доля. Меня еще намечают в исполбюро. Что еще нужно? Каких еще чудесных и неожиданных событий? Работай — и все тут!

23 сентября. Какая я дура! Хожу по улицам, улыбаюсь и размахиваю портфелем.

25 сентября. Сейчас подумала, что за все лето видела Сережу только три или четыре раза. Он к нам на дачу почти не ездил. И вообще какой-то стал странный, худой, молчаливый.

28 сентября. Валька смеется, он говорит, что я запираю двери в техникуме. Ничего нет смешного! Мне вообще ужасно надоел этот его всегдашний барственный превосходительный тон. Обо всем он трактует как пресыщенный лорд в монокле и вечно возится со своими зелеными и красными ликерами. Все ему или забавно или глупо, или давно известно и скучно. Подумаешь, какой ветеран революции! Может, у него работа и более значительная, чем моя, и все такое, но что же из этого?

3 октября. Сегодня сдавала работу по истмату и вспомнила: когда Валька тотчас после приезда спросил, какая разница между комсомолом и партией, я бойко ответила: «По-моему, идейная сила сейчас на стороне комсомола!» Что я хотела этим сказать? Вот ведь какая дуреха была!

4 октября. Опять сцена, почему я не прихожу домой обедать и обедаю «чорт знает где, по каким-то столовкам».

Что же ужасного, если я обедаю с ребятами? Неовко и вообще глупо отделяться. Подумаешь, какой ужас! Борщ будет не так жирен. Есть о чем разговаривать! Мать думает, что все это она говорит «для моей же пользы», ей все кажется, что я не восемнадцатилетняя дылда, а несмышленый младенец. Знает ведь, что калоши я все равно не напялю, так нет, непременно ей нужно приставать с этими калошами: «Надень калоши» или: «Смотри же, не простудись без калош». А самое гажелое — это, что я материально от них завишу.

5 октября. Отец поступил на службу в какое-то издательство. Он как-то присмирел в Москве. Только глухо ворчит да читает «Известия».

8 октября. Чорт побери! Как мне раньше это не влезло в голову!

13 октября. Мать устроила глаза раненой газели, когда я ей сказала. Она с таким отчаянным лицом смотрела, как я складываю вещи, что мне даже жалко стало.

Отец, узнав новость, ничего не сказал и сел обедать. Очевидно, он окончательно примирился с существованием советской власти и блудных детей.

Как может жить с ними Валька? Почему его уважают все тети Маруси, в которых самое слово «коммунист» вызывает испарину и одышку? Ведь нельзя сказать, что он неискренний. Это будет неправда. В чем же здесь загадка? Или они его 500 целковых в месяц уважают?

19 октября. Итак, сегодня неделя моей жизни в общежитии. Хочу спать, как собака, но все-таки запишу кое-что. По совести признаться, здесь не слишком приглядно. Наше постоянное общежитие ремонтируется, мы живем пока во временном. наскоро приспо-

собленном не то из булочной, не то из мануфактурного склада или чего-то еще в этом стиле. Спим тремя ярусами на полках, где раньше лежал товар. Полки очень узкие, — не будь с краю загородок, можно бы упасть. Я сплю во втором этаже.

Из нашего техникума здесь только трое: Ленка, я и Рита. Остальные—кто откуда. Есть даже из консерватории. Одна сумасшедшая. Ну, может быть, и не совсем сумасшедшая, но почти. Учительница, ей лет 40. Сама рассказывает, что год назад, не долечившись, убижала из психиатрической лечебницы. Она пишет какую-то диссертацию для педфака. Хотя в общежитии электричество, но она на последние деньги купила керосиновую семилинейку. Свою диссертацию она пишет чернильным карандашом и на бумаге почти такой же грязной, как ее платья и рубашки. Я бы не дотронулась до них даже щипцами.

25 о к т я б р я. Очень хорошо в библиотеке! Каждый стила учебу. А Дальтон-план — не лекции. Зверская штука! Приходится заниматься.

25 о к т я б р я. Очень хорошо в библиотеке! Каждый раз все больше мне нравится. Наверное, пятьсот человек или пять тысяч читают и записывают. Горят лампы под белыми абажурами («белей, чем бред, чем абажур, чем белый бинт на лбу». Но эти не такие белые. Не холодно-белые, как стены. марля. У них белизна теплая). Это детство, но мне всегда приятно, что вот, мол, какая я умная, занимаюсь среди толпы серьезных людей.

Встретила Сергея. Он меня проводил до общежития. Всю дорогу расхваливал «своего друга Зотова». Действительно, Иннокентий интересный парень, я и сама это знаю. Но он мне так надоед с его силой, что я ска-

зала: «Медведь—тоже сильное живственное». Можно было подумать, что он выступает в качестве свата!

28 октября. Случайно нашли в химическом кабинете пачку писем Николая Ляцкого. Его братья, оказывается, были активными белогвардейцами, членами какого-то центра. Один из них расстрелян, а другой за границей. Сам Ляцкий носил всякие листовки и бегал по городу с белогвардейскими поручениями. Неудивительно теперь его прошлогодняя роль организатора и руководителя противокосмопольской бузы.

Переслали все материалы в ГПУ.

Что, если бы мать пришла в общежитие, как она это порывалась вчера сделать? Она бы «рвала» и метала!»!

31 октября. Сегодня сразу два гигантских происшествия. Во-первых, выдали стипендию, и я купила себе перчатки, а во-вторых, меня за два месяца до срока перевели в члены ВЛКСМ и вручили билет.

4 ноября. Бывает вечером такой особенный час, когда и спишь и не спишь. В голове бродят какие-то об'едки настоящих мыслей. Лежишь, тянешься, тепло, хорошо, как коту на солнышке.

Наши полки — моя, Лены и Ритки — рядом. Разговор начался, кажется, с того, что Рита сказала:

— Мы лежим на этих досках, как штуки мануфактуры.

И мы стали обсуждать, кто из какой ткани сделан. Каждый человек имеет ведь свой музыкальный тон, цвет, материю. Решили, что Ритка — ситцевая. Такой пестрый, ломкий ситец. Лена—из тяжелого гвардейского сукна, а я—не то из фланели, не то из бархата. Потом пошли совсем уж глупые и институтские разговоры. Решили высказать откровенно, какие у кого недо-

статки. Ну, и утром стыдно было смотреть в глаза друг другу. Мне сейчас стыдно за эти разговорчики, почти как за «идейную силу комсомола».

15 ноября. Вчера я до часу сидела в комнате исполбюро и подсчитывала приход и расход. Кроме всего прочего, я ведь еще и казначей.

Каморку радиаторы прогрели, как ванну. Было совсем тихо, только в большом желтом шкафу иногда шуршали мыши, доедая прошлогодние протоколы, да за стеной на кухне пел и рычал водопровод.

Я выглянула в окно.

За углом гудел спускающийся под гору трамвай. Это был последний вагон. Потом я осталась одна в целом мире. От меня до ближайшей звезды насчитывалось три миллиона километров, а на земле не было никого. Все люди и шумы, которые населяли город, умерли, а может быть, их даже никогда и не было. И не будет, если я сама не выдумаю.

Так мне сделалось жутко, что я вслух сказала.

- В Париже есть Эйфелева башня!

Голос прозвучал очень странно в этой пустой тишине, но как-то сразу я почувствовала, что вокруг двести вселенных и что в доме напротив, за каждым темным окном, живут люди, целуются, спят, обдумывают завтрашний день, у каждого из них своя жизнь, и все-таки мы все живем вместе и рядом. И надо жить своей жизнью и делать свое дело и найти расписку Гродзенского на двенадцать рублей.

21 ноября. Если те ночные разговоры были институтщиной, то тем более институтщина — дневник. Копанье в самой себе и мелкие подробности из жизни и быта Гали Матусевич. Кому это нужно? Потомству

что ли? Какая ерунда! В N-ске, действительно, я бы лопнула от злости и тоски, если бы не отводила их в дневник. А теперь?

Работа исполбюро достаточно освещается в протоколах и отчетах!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Сергей, ты не шути, я был сторонник ЦК и остался его, — Ильюша Францель тщательно вылизал кончики пальцев и потер их один о другой, как это делает умывающийся кролик.

— И остался им, ты хочешь сказать?

— Все равно.

Они с Величкиным сидели на куче железного лома у стены прядильного корпуса. Углы, пересекающиеся плоскости и ржавые сферы, материализованные постулаты Эвклида громоздились вокруг них. Маленький паровичок суетливо бегал по двору, стуча ровно и часто, как швейная машинка.

— Так в чем же тогда дело и зачем ты меня так таинственно позвал? Ты сказал, что у тебя какие-то сомнения. Я вот и подумал...

— Да нет же! В двадцать третьем году, когда я был в Минске секретарем комитета...

— Знаю, знаю! Ты громил троцкизм, и тебя на руках выносили с собраний!

— Ну, не на руках... Во всяком случае я никогда не был и не буду троцкист, — сказал Ильюша, снова принимаясь за свои пальцы. — У меня сомнения совсем другого, личного свойства.

— Ну, так чего же? Смелее, старик!

Величкину и в самом деле было любопытно, какие такие сомнения одолели Илюшу Францеля. Да и могли ли вообще существовать какие-нибудь сомнения у этого вечно суесящегося, всегда спешащего и опаздывающего, бестолкового и милого красноглазого минского активиста? Неужели и он, как прочие смертные, подвержен мучениям раздумий и колебаний?

— Видишь ли... — начал Илюша.

Он засмеялся, встал, снова сел, еще раз вылизал пальцы и скептически посмотрел на них. Наконец Францель решил.

— Скажи, Сергей, по-твоему коммунист имеет право покончить с собой?

Величкин почувствовал, что вопрос задан далеко не академический. Илюша спрашивал о своем и наблевшем.

Еще не совсем понимая, в чем дело, Величкин тихо и почти ласково сказал:

— Зачем ты это спрашиваешь, Илюша, а?

— Сергей, это же большое безобразие, когда чело-
век болен! — заволновался Францель.

— Пустое! Всякую болезнь можно вылечить. Только против насморка медицина бессильна.

— Да нет, совсем не всякую. Бывают такие, что и не вылечишь, а что же тогда делать?

— Жить, пока можешь! Барахтаться кое-как! А главное—работать, делать свое дело! Мы живем не только ради собственного удовольствия, ты и сам это понимаешь.

— Понимаю-то понимаю только, мне думается, это очень так сказать тяжело..

— Ничего не попишешь. И потом, что такое неизлечимая болезнь? Никто из нас не знает, когда его призывает господь. Может, какой-нибудь неизлечимый чахоточник будет жить и жить, а я, его здоровый и полнокровный сосед, сегодня попаду под трамвай.

— Не в этом дело, а тяжело быть, так сказать, неполным человеком.

— А уж это вовсе вздор! Ты полагаешь, здоровый Володька Татаринов был бы более «полный человек», чем больной Карл Маркс?

— Значит, по-твоему — нельзя?

— Нет, — твердо ответил Величкин, — ни в каком разе! Разве что с особого разрешения Центрального Комитета. А так—ни-ни! Даже, пожалуй, в устав надо бы внести. И притом, кто сказал, что ты неизлечимо болен?

— Обо мне речи нет. Это я, так сказать, вообще спрашивал.

— Вообще?—с сомнением переспросил Величкин — То-то, вообще!

Они посидели несколько минут молча. Величкин вынул из кармана сверток и, развернув его, отломил половину бутерброда Францелю.

— Лопай!—коротко сказал он.

Илюша, не глядя, как бы машинально, взял бутерброд и с жадностью принялся за еду.

— Сергей,—сказал он, утирая рот желтым платком,—я хотел спросить насчет твоего изобретения...

Величкин вопросительно посмотрел на приятеля.

— Я слышал, ты хочешь бросить фабрику из-за этой волюнки. Так это будет большое безобразие!

— Почему же?—спросил Величкин, взъеропиваясь.

— Ты сделаешь, так сказать, крупный промах. Еще неизвестно, что выйдет из твоего изобретения. А здесь на фабрике ты все же варишься в пролетарском котле. Нам всем это необходимо.

— Может быть. Даже больше того: мне не только необходимо, но и гораздо приятней работать на фабрике и ни о чем не думать, чем мучиться с этой штукой. Но я же просто не имею права! Это все равно, что видеть вора и не схватить его за руку! Работа теперешними резцами — это то же воровство.

— Но ведь ты не отрицаешь того, что из всей твоей шарманки может ничего не выйти?

— Отрицаю! — сказал Величкин категорически. — Выйдет, непременно! Как то, что сейчас двенадцать часов! Уж я бы не взялся, если бы не знал. Неужели ты мне не доверяешь?

Подтверждая слова Величкина, гудок, точно мембрана, задрожал на конце трубы. Величкин поднялся и пошел в цех.

— Зайди к Данилову, — крикнул ему вдогонку Фрагмент. — Я видел его итти по двору, и он тебя звал.

Величкин понял, что Илюша говорит с чужого голоса. Это только предварительная разведка Данилова. Александр Тихонович станет говорить о том же.

Величкин, как и все на фабрике, относился с невольным уважением к этому коротконогому энергичному человеку. Он даже немного гордился дружбой с Даниловым и ничего так не хотел сейчас, как убедить его в своей правоте. Дело здесь заключалось не в том, что Данилов — секретарь ячейки. Он был, кроме того, еще и человеком, советы которого Величкин очень высоко ценил.

Когда Величкин вошел в комнату ячейки, Данилов, положив левую руку на стол, с ужасом и любопытством разглядывал загоревшийся повыше кисти прыщ. Александр Тихонович очень боялся болезней и тщательно заливал иодом всякую ничтожную царапину или ранку. В его голове больше помещалось историй о заражении крови, болезнях и загадочных недугах, чем сидело угрей у него на носу. А угрей этих было тоже препорядочно! Он часто и охотно рассуждал о бактериях и злокачественных опухолях, жаловался на какие-то таинственные боли в пояснице и на ломоту в суставах. Поздоровавшись с Величкиным, Данилов встал и запер дверь на согнутый крючок.

— Так надежней, — пояснил он. — Буду говорить с тобой напрямик, — начал он, садясь на место и сладострастно придавливая пальцем багровый прыщ. — Тут подано одно заявление. Вот возьми, ознакомься.

Он раскрыл синюю лапку.

Величкин успел заметить, что на обложке ее написано: «О тов. Величкине». Острая боль клюнула его под ребро. Заявление было написано фиолетовыми чернилами на четырех больших страницах. Величкин взглянул на подпись.

— Маршанов, — сказал наблюдавший за ним Данилов. — Копает против меня. У него расчет тонкий: я за тебя заступлюсь, а он на этой невыгодной для нас почве даст мне бой.

Дочитав до конца, Величкин аккуратно сложил заявление и молча протянул его через стол Данилову.

— Ознакомился? — спросил Александр Тихонович. — Теперь я его изорву, — сказал он, раздирая заявление на части. — Ну, а теперь, — Данилов сбросит обрывки

в корзину,—ты то же самое сделаешь вот с этим. Он вынул из папки сложенную вчетверо бумагу.

— Позволь, — сказал Величкин недоумевая. — Это ведь мое заявление?..

— Вот именно! Поэтому ты его сам и уничтожь!

— Но зачем? Я действительно хочу уйти с фабрики, чтобы несколько месяцев или, может быть, полгода поработаем над изобретением.

Данилов помолчал немного.

— Там Маршанов пишет, что ты—примазавшийся интеллигент, что рабочая психология тебе чужда. Конечно, я считаю это вздором. Докажи, что я не ошибаюсь!—И он еще раз настойчиво ткнул Величкину его заявление.

— Это будет глупейший способ доказательства! — возмутился Величкин.—Так я ничего не докажу, кроме собственной дурачности. Новое дело! Человек стоит накануне огромной победы, нужной для всего государства, а ему предлагают не петушиться и лечь спать. Нет, брат, этот номер не пройдет!

Величкин встал и, подергивая плечами, прошел несколько раз от стола к двери.

— Не горячись,—еще спокойней сказал Данилов.—Во всем этом ты прав. Но пойми: Маршанов вовсе не без оснований обвиняет тебя в манкировании партработой. Так или нет?

— Ну, так!

— Ты можешь изобретать что угодно и сколько хочешь, но оставаться партийцем обязан. Так?

— Справедливо. — Величкин вспомнил, как Елена Федоровна говорила: «Ты можешь изобретать что угодно, но ложиться во-время спать». и усмехнулся

этому совпадению. Эта улыбка сбидела Данилова. Он стиснул зубы и досчитал про себя до двалцати, чтобы не загорячиться.

— Так вот. Это мы имеем сейчас, когда ты все-таки на фабрике, вместе со всеми нами. А когда уйдешь? У всей этой истории может быть очень печальный конец. Сегодня я порвал заявление Маршанова, а завтра мне напишут десять Маршановых. Да и, к тому же сказать, хорошо, если твое изобретение пройдет. А если ты останешься на бобах, в чем я лично почти не сомневаюсь? Ведь над изобретениями работают тысячи, а действительно удаются десятки.

— Мое удастся, — вяло сказал Величкин. — Оно не может...

Он не закончил и стал рассматривать голубей, прыгавших по подоконнику и ворковавших в тон ровной и непрерывной речи Данилова. Ему стало скучно, и он почувствовал, что сейчас уснет.

— Так взять обратно свое заявление ты не хочешь? — еще раз спросил Данилов.

— Не хочу, — зевая, ответил Величкин.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Молодой профессор Петров-Ланской носил золотые пенсне, диагональные брюки и страдал ишиасом. Он принадлежал к тому сорту ученых, которым наука представляется не более, как нагромождением разнообразных фактов. Задачей каждого добросовестного исследователя они считают умелое приумножение этой груды фактов, а всякий научный труд расценивают

только по числу содержащихся в нем сведений. Обобщения, гипотезы, теории и мировоззрения они в глубине души считают делом ребяческим и недостойным серьезных людей, хотя внешне и соблюдают по отношению к ним все приличия.

Их деятельность полезна и значительна. Их труды лежат в основе всякой работы, по-новому группирующей и обобщающей факты. Без их длительного и кропотливого труда невозможны были бы теории и системы, как лампа освещающие новый уголок мира или переворачивающие все в течение десятилетий накопленные воззрения. Без них наука в целом не подвинулась бы даже на дюйм.

И однако полезность не препятствует им оставаться людьми узкого кругозора, ограниченного тремя квадратными аршинами мельчайшего раздела мелкой специальности. Вокруг них всегда плотно стоит кольцо тяжелой добросовестной скуки. Таких людей не без основания бранят сухарями.

Эта кличка особенно подходила к Петрову-Ланскому. Она была прочно привинчена к его лбу. Вообразить этого человека ласкающим жену или младенца было невозможно. С ним не могло произойти столь печальное недоразумение.

Поэтому Зотов был чрезвычайно удивлен, когда, распахнув дверь в комнату профессора, увидел полную и красивую молодую женщину, которая шила, сидя между двух анилиновых фикусов.

Петров-Ланской стоял с молотком в руках и, склонив голову набок, критически рассматривал большую семейную фотографию, видимо, только сейчас водруженную на новый гвоздь.

— Чем могу служить? — спросил он Зотова, по-дуоборачиваясь и не выпуская из рук молотка. Он произнес эти слова таким тоном, точно спрашивал: «За каким чортом ты пришел?» Но Зотов был не из числа тех, кого смущает тон или то, что их не приглашают есть.

— Видите ли, профессор, — начал Зотов, — у меня довольно длительный разговор. И я хотел бы показать вам кое-какие чертежи.

— К сожалению, я лишен... — заикнулся было профессор.

Однако жене так и не суждено было узнать, чего именно лишен профессор. Зотов перебил его и, быстро воскликнув: Только пять минут, профессор!» — стал говорить почти скороговоркой, без знаков препинания и пауз.

Петров-Ланской безнадежно вздохнул и сел на диван.

Профессор не вбивал ни одного клина в зотовскую речь и только одобрительно покачивал головой. Однако этот невинный жест пугал Зотова. Студенты, занимавшиеся в семинарии Петрова-Ланского, хорошо знали, что означало такое покачивание. В нем были и ирония, и сарказм, и негодование, и возмущение. Если во время вашего доклада Петров-Ланской станет так качать головой, лучше и не пытайтесь закончить, садитесь на место сейчас же!

— Довольно,—скажет вдруг профессор и приподыметя на носках, чтобы заглянуть в глаза студенту. Стекла его пенсне покажутся вам двумя осколками Ледовитого океана. А затем он облокотится о стол и грустно скажет:

- Это чрезвычайно интересно! Чрезвычайно! Молодой человек заявил, что. .

И все кончится!.

Зная это, Зотов понимал, что поведение Петрова-Ланского не предвещает изобретению ничего хорошего. «Растерзает, гад»,—думал Иннокентий. Петров-Ланской постукивал молотком по кожаному валику дивана.

Жена, опустив голову, оттягивала и оправляла носок, распряленный по деревянному грибу.

— Вы кончили? — спросил Зотова профессор со смертоносной любезностью.—Итак, вы просите, чтобы вам разрешили пользоваться институтскими лабораториями и мастерскими для реализации вашего чрезвычайно интересного изобретения? Так я вас понял?

— Эге, — сказал Зотов нечаянно.— То-есть я хотел сказать, что вы меня правильно поняли.

— К несчастью, — сказал профессор так проникновенно, будто для него и в самом деле составляло бог весть какое несчастье, — к несчастью, ничем не могу быть вам полезен (профессор произносил «Вам, Вы», как их пишут в вежливых деловых письмах. Чувствовалось, что эти слова начинаются у него с большой буквы). Если вы хотите знать мое личное мнение, то мне ваше изобретение представляется чрезвычайно детским и неосуществимым. (Все время, пока невежественный и прогнанный с зачета студент повествовал о каком-то своем диком изобретении, профессор прикидывал в уме, правильно ли висит на новом месте фотография. К концу рассказа он окончательно решил, что правая сторона слишком приподнята).

— Но если бы даже я держался положительного мнения о вашей работе, и тогда я не сумел бы пре-

доставить вам более широких прав, нежели предусмотрено инструкциями, выработанными правлением института. До свидания, молодой человек

Спотыкаясь в темных сенях и натыкаясь то на велосипед вонзившийся педалью в стену, то на чьи-то тяжелые шубы, Зотов с трудом пробирался к тяжелой двери. Натягивая на крыльце перчатки, он слышал, как за его спиной долго грохотали засовы, крючки, цепи и ключи. Железо хрипело, как голоса тюремщиков. Похоже было на то, что профессор применял все системы запоров и задвижек сразу

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Резец Зотова—Величкина не ломался и не тупился даже о самую закаленную инструментальную сталь. Поговорив о новой неудаче и перебив все косточки Петрову-Ланскому, друзья решили на следующий же день отправиться к Лавру Петровичу Лебедухе, ректору того учебного заведения, в котором обучался Зотов.

Лавр Петрович был ученый с мировым именем. Он состоял членом нескольких академий, и его широкая борода служила постоянным украшением многих иллюстрированных журналов. Внешность его казалась несколько декоративной. Волосы белые и свежие, как халат хирурга, быстрые молодые темно-карие глаза, такие искрящиеся, что всегда казались смеющимися, высокий рост и почти гвардейская осанка делали его красивым вопреки возрасту. Он был близорук, но очков не носил, а читая, взбрасывал к глазам старомодный черепаховый лорнет

Профессор жил в дальней, тихой улице. Зотову несколько раз пришлось справляться со своей черной записной книжкой, прежде чем они нашли этот зеленый провинциальный дом в три окна за досчатым забором.

Величкин легко, стараясь, чтобы его не услышали, дернул фарфоровую ручку звонка. Ржавая проволока закрипела, и в глубине маленького домика твякнул колокольчик. Величкин улыбнулся тому, что человек, всю жизнь мучившийся над решением сложнейших загадок электричества, не устроил у себя в квартире электрического звонка. Он еще не успел смыть с лица улыбку, как дверь отворилась. К удивлению друзей, им открыл сам профессор. Старик стоял перед ними, придерживая левой рукой халат с кистями, раскрывающийся над профессорской грудью, как театральный занавес. Внезапно откуда-то из-за сундука выскочил фоксик. Он визжал, лаял и скалил зубы, яростно угрожая чужим.

— Пошел, пошел, Джокер!—закричал ученый.

— Нам необходимо с вами побеседовать, профессор, — сказал Величкин, пряча смущение под развязностью.

— Пожалуйста, — ответил профессор. — Я всегда очень рад поговорить с молодежью. — При этом он улыбнулся, как улыбается взрослый и умный человек, когда милый ребенок просит у него шоколадку или белую копейку для своей копилки.

..Когда Зотов на высоком под'еме перерубил свой рассказ, черепаховый лорнет щелкнул и развернулся. Лавр Петрович по очереди взглянул сквозь большие круглые стекла на изобретателей. Величкин заметил.

что державшая лорнет гладкая юношеская рука профессора не дрожала.

— Господин Зотов, — сказал Лавр Петрович медленно и вдумчиво.—и вы, господин Величкин, конечно, я охотно вручу вам записку насчет лабораторий и мастерских. Но разрешите мне, как старшему, как в некотором роде, ушедшему вперед, преподать вам несколько дружеских советов.

Зотов, удивленный «господином» и обрадованный осуществлением своих желаний, почтительно наклонил голову.

— Совет мой сводится к двум словам, — сказал старик: — не горячитесь! Вы молоды. Вы кипите. Пары прогибают крышку котла. Но ученому нужна не горячая голова, а холодный аналитический ум. Я не стану слишком разочаровывать вас. Может быть, ваше изобретение даже и осуществимо. Но ведь это не последняя ваша работа. Так не становитесь же на ложную дорогу! Вас, несомненно, увлекает возможность немедленного и практического успеха. Но во сколько раз благородней и выше те радости, которыми дарит нас чистая наука!

Профессор широко дирижировал лорнетом. Его глаза обнимали невидимую аудиторию.

— Занимайтесь вопросами чистой теории, молодые люди! Наука — вот единственный мир, единственная страна, в которой стоит жить. Наука — служанка богословия.—говорили в средние века. Техника—служанка науки,—скажем мы сегодня. Каждое завоевание чистой науки влечет за собой революцию в технике. Если вы хотите действительно двинуть вперед технику, двигайте вперед чистую науку.

Величкин чувствовал, что его распирает желание ответить.

— Простите меня профессор, — начал он, беря со стола тяжелые пресс-папье и машинально вертя его в руках. — Я слишком молод, чтобы навязывать вам свои точки зрения. Но я хотел бы сказать, как мы смотрим на дело. Может быть, вас это заинтересует.

— Разумеется, мне будет очень интересно, — сказал профессор, с удивлением глядя на те манипуляции, которые Величкин проделывал с пресс-папье.

— Мы с ним, вот с Зотовым, не ученые и, вероятно, никогда ими не будем. Обдумывая резец, мы всего меньше беспокоились о торжестве науки. У нас была одна цель и задача...

— Вы на бильярде играете? — неожиданно перебил его профессор. — Простите, простите, — тотчас спохватился он. — Зачем я вас перебил... Пожалуйста, продолжайте!

Сергей положил пресс-папье.

— Вы сказали, профессор, что на свете есть только одна страна, в которой стоит жить и которой стоит отдавать самого себя: наука. Да, и по-нашему существует такая страна. Но ее название пишется не пятью, а четырнадцатью буквами! — Величкин снова воодушевился и снова взмахнул пресс-папье.

— То-есть?

— СССР! И мы ей, этой стране, хотим отдать все, что у нас есть. О, это очень немного! Только самих себя со своим мозгом, нервами, талантом, со всем, что в нас хорошего.

Зотов кашлянул и задвигался в своем кресле. Величкин рассеянно взглянул в его сторону и продолжал:

— Чтобы устроить мало-мальски заметное достижение в области вашей чистой науки, профессор, нам бы надо прожить и проработать еще пятьдесят лет. А нам некогда и стране нашей некогда! Нужно кончать скорее, сегодня, сейчас, немедленно!

Величкин так торопился выгрузить все душившие его слова, что на последние ему нехватило воздуха, и он произнес их почти хриплым шопотом.

— Да, сейчас я особенно ярко понял, что выросло совсем иное поколение,—сказал профессор.—В вас гудит ток другого напряжения. Я чужой вам! Многие в вас мне непонятно и даже несимпатично. Ваша уость например. Какая-то особая болезненная нетерпимость, почти фанатичность. Право, когда вы вертели пресс-папье, мне минутами казалось: «А что если он возьмет да и треснет меня этой игрушкой по башке». Ей-богу, у вас такие глаза...

Все трое засмеялись.

— А самое главное,—закончил профессор,—я просто старый брюзга, а вы жители великой страны. Какой, вы хотите знать? Это будет уж третья. Страна молодости — вот как я ее назвал бы!

Когда Зотов вышел на крыльцо, профессор, наклонив бороду к уху Величкина, конфиденциальным шопотом сказал:

— А все-таки в ваше изобретение я не верю. Нет-с, не верю!

У трамвайной остановки друзья развернули профессорскую записку и перечли ее несколько раз. Лавр Петрович писал с ятями, хотя и без твердых знаков.

— А здорово ты его срезал, Сережка, — сказал Зотов. — В этом отношении ты молодец. Хотя, по совести

сказать, ты рассуждал, как демобилизованный красноармеец-избач в благонравном агитационном рассказе для деревни.

— Что же, я и есть демобилизованный красноармеец, — весело возразил Сергей. — Только что не избач. А ты? Как бы ты изволил рассуждать? — спросил он, тщательно пряча в бумажник записку.

— Подходит тринадцатый номер, — сказал Зотов. — Знаешь, у нас в Москве 39 трамвайных линий, а в Берлине 297!

* ЧАСТЬ ВТОРАЯ *

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Весь день над городом висело грузное оловянное небо, а под вечер пошел первый снег. Настоящий первый снег всегда идет вечером.

Галя вышла из дому и остановилась у парадного. Собственно говоря, ей бы надо сейчас читать товароведение. Она сама не понимала, зачем и куда пойдет. И однако уже через пять минут она шла по Ильинке.

Вечер холодно искрился и легко опьянял. Морозная пыль дрожала и серебрилась на рыжих шерстинках галяной телячьей куртки. Каракулевый воротник смешивался с ее черными волосами, и снег на черном сверкал, как стеклярус. Все встречные смотрели молодыми, чуть няняными глазами и беспричинно улыбались своим отражениям в витринах. Под каблуками хрустело, точно Галя ступала по туго накрахмаленному белью. Прохожие, их шубы и шляпы были обрызганы мыльной пеной.

Галя шла долго. Заметив, что попала на Новинский бульвар, она решила навестить Величкина.

— Сережи нет дома, — сказала Елена Федоровна, вздыхая. — Если хочешь, посиди со мной, напейся чаю, или я тебе дам адрес Зотова. Они там сидят, как медведи в берлоге, и высасывают из лапы свое изобретение.

— Какое изобретение? — удивилась Галя.

— А бог их знает!

И Елена Федоровна принялась жаловаться на судьбу, навязавшую ей беспутного сына.

Когда Галя вошла в комнату. Величкин и Зотов только-что закончили в первом варианте черновой чертеж резца.

На радостях они возились и барахтались.

Гордость зотовской комнаты—мягкое кресло с вылезшим волосом—рассыпалось под тяжестью их тел, точно склеенное из спичек. Зотов притиснул Сергея к кровати и, нажимая подбородком плечо Величкина, кричал:

Сдавайся!

— Однако изобретение подвигается вперед гигантскими шагами, — сказала Галя, снимая обеими руками ушастую шапку.

Борцы, тяжело дыша и одергивая измятые рубашки, поднялись.

— Откуда ты, Галька, знаешь об изобретении? — спросил Величкин.

— Из газет, конечно, — ответила Галя.

— Галя, если бы я был древнеримский грек, я бы сказал, что в таком виде ты похожа на эту, как ее... на Диану.

— Брось, Сережа, что за глупости... — сказала Галя — Идемте лучше гулять. Я пришла позвать вас.

— Полагаю, Сережа, возражений не будет? — быстро сказал Зотов.

Ему не терпелось поскорей спровадить Галю из комнаты. Унизительная нищета здешней обстановки была не для женщины.

— Стало быть, пойдем? — весело спросила Галя, снова надевая шапку.

Величкин быстро оценил положение. Галя пришла к Зотову. Может быть, они условились заранее. Даже наверное. Недаром Иннокентий настаивал, чтобы сегодня работать непременно здесь. Какого же чорта ему мешать и «путаться под ногами у чужой свадьбы»? На его присутствие никто не рассчитывал.

— Я дойду с вами до угла. Мне нужно к завтраму приготовить доклад, — мрачно соврал Величкин.

— О чем у тебя доклад? — с интересом спросила Галя.

— Об этом... ну, о текущем моменте.

— Жаль! — Галя огорченно сдвинула брови. — Ну, что ж поделаешь...

«Ври больше, — с озлоблением подумал Величкин. — Сама — «жаль», а сама...»

Попрощавшись с друзьями, Величкин долго смотрел им вслед, не обращая внимания на толчки прохожих. Снеговая сетка сгустилась и сомкнулась за ушедшими. Он чувствовал, что сделал непоправимую глупость. Минутами ему хотелось побежать за Галей и Зотовым, но поперек улицы был протянут плагбаум рокового «неудобно».

— Ну и пусть! — ворчал Величкин. — Подумаешь!

Что, собственно, «ну и пусть» и о чем надлежало «подумать», он и сам не знал.

«И опять на полянах моих ладоней твоего аромата ландыши»,—вспомнил он строчку из какого-то плохого стихотворения. Величкин нарочно простился с Галей последней. чтобы унести ее прикосновение в свое одиночество.

Мимо проезжали пролетки с поднятыми верхами. Тень клесчатых балдахинов скрывала лица седоков. Были видны только ноги — две пары ног в каждом экипаже. Мужские — в узких модных брюках, в острых змеиных ботинках—и женские ноги обтянутые развратными и великолепными телесными чулками. За ними угадывались пышные и доступные тела, открывающиеся легко, как американский замок. Доступность и невидимость делали их соблазнительными. Трудно было поверить, что это заурядные уличные проститутки с хриплыми голосами и фиолетовым носом.

«У меня даже нет денег. чтобы хорошенько напиться или насладиться с этой дамочкой десятирублевым блаженством».—подумал Величкин со злостью

Величкин вернулся к Зотову и, не раздеваясь, в мокрой и снежной кожаной куртке кинулся на кровать. Ему до смерти не хотелось идти домой. пить чай, разговаривать с матерью, смотреть как она штопает его зеленые носки. и рассказывать ей о международной политике.

Он лежал в быстро редевшей темноте. курил и злобно ворочался, проклиная то собственную глупость, то коварство Гали Матусевич. То он готов был бежать за Зотовым и Галей в кино. то решал при встрече не здороваться с этой свиньей Галькой.

Зотова очень удивило. что Галя отказалась пойти в кино за его счет.

— У меня есть деньги. — просто сказала она, доставая маленький кошелек.

Когда они вошли в зал и разыскали свой стулья, картина еще не началась, хотя оркестр уже играл. Но вот скрестились два голубых ножа. Занавес раскололся и растаял. На плоский экран вышли люди. Под бурную музыку и треск проекционных аппаратов они пубили, ревновали, смеялись и смывали кровь с ладоней.

Картина оказалась отличной. Это была настоящая вещь, высокое произведение большого искусства.

Люди в зрительном зале, целый день простоявшие за прилавками, прощелкавшие арифмометрами, проплетничавшие и прообедавшие, переставали сопеть, жевать шоколад и даже кашлять, когда драматическая колесница тормозила на точках наивысшего напряжения.

Гаяля наполовину сняла куртку и так замерла. Если бы сейчас какой-нибудь безумный шутник крикнул «пожар!» — она, может быть, одна осталась бы в опустевшем зале, растроганная и увлеченная игрой теней на полотне.

Зотов сперва тоже смотрел с интересом. Ему понравилось, что главную роль играет сильный, высокий человек со слоновым затылком. Иннокенгий даже спросил у Гали о фамилии этого артиста. Но скоро ему сделалось скучно.

Зотов попытался заговорить с Галей, но она отвечала совсем не в цель, ограничиваясь нетерпеливыми «да» и «нет». Тогда он принялся разглядывать соседей. Девушка в белом пуховом платке и красноармеец тихо

мтели, склонив друг к другу головы. Им предстояло еще пять частей блаженства. Их руки переплелись, и, пользуясь темнотой, молодая парочка позволяла себе не слишком скромные ласки.

Потом Зотова заинтересовал оркестр. Иннокентий в музыке смыслил мало и считал ее бессмысленным и бесцельным сотрясением воздуха. Но его поражала точность и размеренная стройность движений музыкантов. Знак руки дирижера то рождал жалобный долгий стон, почти вой на луну, то стряхивал с обрыва громышающую лавину камней и льдин. Музыканты резали смычками одновременно и одинаково, не отставая от общего течения пьесы даже и на сотую долю секунды.

...Трапедия качнулась к звездному потолку и вернулась на место.

Сорвется или не сорвется?

Сбросит или не сбросит?

Время и дыхание остановились, не решаясь перешагнуть черту.

Галя пригнулась к спинке переднего кресла и стиснула пуговицу своей шубы.

Не сорвался! Отпуская дыхание, как птицу из клетки, Галя откинулась назад. Она с удивлением заметила, что Зотов зачем-то держит и гладит ее левую руку.

Странное дело! Галя вовсе этого не желала, она знала, что руку нужно выдернуть, и в то же время медлила это сделать. Ей казалось, что мускулы ее тают и расплываются. Такая мутная сладкая истома охватывает иной раз в летний полдень, когда зной растапли-

вает, кажется, не только кости, но и мозг костей. Не можешь ни шевельнуть пальцем, ни сделать два шага. Остается только лежать и томиться, покрываясь горячим потом.

Зотов пристально уставился в экран. Он хотел, чтобы его ласка выглядела случайной произвольной. Если бы Галя отдернула руку, он не показал бы вида, что что-нибудь заметил. «Все в порядке, я ничего не знаю», — казалось, говорила его поза. Но Галя не стняла руки, и Зотов медленно провел сухими пальцами по ее коже. Он нащупал перекресток синих просвечивающих артерий и прижал к этому месту ладонь.

Из кино Галя вышла все еще в полусне. Снег струился на мостовые и тротуары. Пешеходы и лошади не утомимо печатали на нем новые впадины, а медленно опускающийся снег опять уравнивал их с трехвершковым меховым пушистым покровом, снова и снова повторяя и продолжая свою бесконечную работу. Всюду лежала белизна ровная, как четырехстопный ямб. Ватные полосы налипли на вывески и свешивались с золоченных букв, занавешивая фамилии скорняков и портных.

— Какая картина! — сказала Галя. — После такой вещи хочется жить сначала, так это хорошо.

— Не согласен! — категорически заявил Зотов с привычной уверенностью беря Галю под руку. — Ничего чрезвычайного в этой картине нет.

— А главное, ведь это все не настоящее, — почти наивно сказал он через несколько шагов. — Все это изобрел режиссер или автор. Какое нам дело до выдуманных страданий? Впрочем, временами действительно было забавно.

— Забавно?—Галя даже приостановилась.—Ты просто говоришь гадость! (По усвоению за последний год привычке Галя перешла на «ты»). «Мертвые души» тоже изобрел Гоголь. Значит, и это, по-твоему, только забавно?

Галя была возмущена.

— По-моему, это ужаснейшая буза, как и все ваше искусство вообще! — спокойно сказал Зотов. — Все эти книжечки, статуэтки и картинки — духовные поллюции. Неизбежное, но печальное следствие недостаточной нагрузки общественного организма. Почему не было стишков в октябре семнадцатого года? А сейчас мы опять получили возможность тратить время и монету на эти безделки! Я недавно прочел очень правильную статью. Автор этой штуки так прямо и говорит, что искусство, водка и кокаин — наркотики одного порядка. Настоящий человек не нуждается в том, чтобы его подбадривали игрой на скрипочках и бормотанием стишков. Он делега. У него здоровый мозг. Он и без возбуждающих снадобий делает свою работу!

— Как это согласовать с марксизмом? Ты, стало быть, отрицаешь за искусством роль организатора общественных эмоций? — сказала Галя, старательно припоминая соответствующие страницы из учебника.

— Осторожно, здесь скользко, — вместо ответа сказал Зотов почти перенося Галю через скользкий прямоугольник.

Незаметно они дошли до общежития. Величественный дворник в чугуном тулупе сидел у ворот. Они вошли во двор и молча остановились у входа на черную

лестницу. Остуда несло помоями, теплым жильем и мышами.

Зотов стоял с расстегнутой грудью и без шапки. Раскрытый ворот обнажал литое великолепие его мускулистой шеи. Таким, с посеребренными кудрявыми волосами, он представлялся Гале похожим на золотоискателя или моряка.

Неожиданно, по-деревенски, в глубине двора запел петух.

— До-свиданья. — сказала Галя, вздрагивая. Ее черные глаза блестели.

Инокентий прогнул к ней руку и привлек ее к себе. Галя только слабо вздохнула, когда Зотов поцеловал ее в морозные, освеженные снегом губы.

«На сегодня достаточно». — спокойно подумал Зотов, подымая голову.

По дороге домой он с беспокойством вспоминал, как кто-то из товарищей рассказывал, что от поцелуев на морозе трескаются губы.

Зотов зажег свет и с изумлением увидел, что на его кровати, раскрыв рот, спит Сергей.

— Ты останешься? Тогда вставай и постелим, — сказал Зотов, растолкав Величкина.

— Останусь.—прворчал Величкин, протирая глаза.

— А что же твой доклад? — удивился Зотов.

— Какой еще к свиньям доклад! Просто я не хотел вам мешать!

— Вот что! Ты поступил не так уж глупо, — самодовольно сказал Зотов, ударяя друга по спине. — Ей-богу, твои умственные способности совершенствуются.

— Под твоим благотворным влиянием, — зевая, сказал Величкин.

Когда они легли. Величкин, злорадно раздирая собственную рану, спросил:

— Конечно, ты бы предпочел, чтобы вместо меня сейчас здесь лежала эта женщина (Величкин не сумел принудить себя сказать «Галя»)

— Это меня больше устроило бы, — ответил Зотов тонно. — Но ведь и ты не прочь, а?

— Отстань! — фыркнул Величкин.

— Сережка, серьезно, мне друг дороже бабы! Хочешь, я ее прогоню? Она, конечно, девка на полный ход, но ведь не только свету, что в окошке! Не ссориться же нам из-за юбки! — закончил он, приподняв маясь на локте.

— Не мешай мне спать и не срывай с меня одеяло, — ответил Величкин, оборачиваясь к стене. — И, пожалуйста, не затевай больше никогда этого идиотского разговора.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дальше откладывать об'яснение было невозможно. В субботу Сергей пришел домой необычно рано. За супом он несколько раз откашливался, точно собираясь заговорить. Но когда Елена Федоровна, опуская ложку, взглядывала на него, он молча переворачивал газету, делая вид, что дьявольски заинтересован статьей о развитии льняного экспорта.

После обеда Величкин стал прохаживаться по комнате, заложив руки за пояс. Елена Федоровна мыла посуду. Она рассказывала сыну скудные новости своего дня. Управдом чуть было не обсчитал ее на

пятьдесят копеек, а купленные к обеду яблоки она позабыла в лавке.

«Яблоки... В сущности говоря, какое странное слово,—подумал Величкин. Он несколько раз повторил про себя по слогам: — яб-ло-ки, яблѸки, яблѸкѸ... В самом деле, какая бессмыслица...»

Из грязной воды посуда выходила сияющей и непорочной. Блестки электричества сползали с крутых склонов опрокинутых тарелок вместе с каплями

— Мама, — сказал Величкин, прислоняясь к дверной раме, — с сегодняшнего дня я безработный.

— Что?—Елена Федоровна опустила руки в воду — Тебя сократили? За что? Почему?

— Нет, меня не сократили. Я ушел сам. Я надеюсь, ты поймешь меня. Мне нужно закончить изобретение. Для этого потребуются работать вдвое больше, чем сейчас. Совместить такую работу с заводом я не могу.

Величкин произнес все это под ряд, не меняя интонаций и глядя в пол. Он отодрал ногтями от дверного косяка полоску пахнущего смолой дерева и расщепил ее на несколько лучинок. В расщепе этого ничтожного клочка древесины волокна тянулись так же, как в разрезе расколотого тяжелого полена или как они тянулись в трещинах рассыхающихся половиц. Величкин вспомнил, что в такую щель половицы он когда-то, еще в детстве, уронил серебряный гривенник. Монета, должно быть, и сейчас лежит там, в сыром подвале. Над этим огрызком металла, над крохотным орлом, не затронув его, пронеслись годы и войны.

— Что же, — сказала Елена Федоровна, вынимая руки из радуги. — Делай, как по-твоему лучше. — Она поджала нижнюю губу, и от этого исчез подбородок.

Величкин знал, что этот жест означал близкие и неминуемые слезы. С таким же отчаянным и напряженным лицом мать когда-то вталкивала его в ванную, чтобы запереть там в темноте.

— Я знаю. — продолжала Елена Федоровна, почти всхлипывая, — я знаю, я все время портила и порчу твою жизнь. Ты бы давно поступил учиться. Ты такой способный и служишь простым рабочим. А последнее время... Ты думаешь, я не видела... Ты мучился, и это было из-за меня.

Величкин боялся женских слез.

— Мама, зачем ты так говоришь? Ведь это же неправда, ты сама знаешь, — сказал он, кидая на пол свою щепочку и подходя к матери, чтобы обнять ее. Елена Федоровна мокрыми мыльными руками обхватила его коротко остриженную голову

— Мальчик мой, мой миленький!. — всхлипывала она и бормотала какие-то невнятные и жалобные ласковые фразы.

Наконец она немного успокоилась и спросила:

— Почему ты так уверен, что твое изобретение действительно дельная вещь?

.. Высчитал, мама. Не буду же я читать тебе таблицы, которые мы составили.

-- Ты советовался со сведущими людьми?

Вспомнив отзывы профессоров, Величкин отрицательно покачал головой.

— Нет, — сказал он, — я не вижу в этом надобности. Мы и сами достаточно сведущие люди.

Он видел, что мать сомневается в нем, и ему хотелось ее убедить. Но нужные слова не попадались. Величкин, как всегда в последний год, почувствовал, что

он совсем нехотит спать. (Недавно он уснул, лежа нагишом в пустой ванне).

Просыпаясь на стуле, Сергей услышал, как мать говорит:

— ...Истории с изобретениями кончаются крахом «Значит, спал только несколько секунд», — подумал Величкин.

— Мне страшновато за тебя, Сереженька!

— Пустяки, все уладится! — зевая, сказал Величкин

— Мне, конечно, все равно, я уж одной ногой стою в могиле...

Подумав о смерти и приближающейся старости. Елена Федоровна вдруг сразу почувствовала себя больной, дряхлой и беспомощной. Ее покидал родной сын...

И так ей сделалось жаль себя, что она опять всхлинула, но сдержалась и не заплакала.

— Ну брось же, мама, довольно, перестань! — просил ее Величкин. Разговоры о смертях, болезни и нищете были ему неприятны. — Слезы не помогут! Не плачь, пожалуйста!

— Да разве я плачу? — спросила мать, утирая мокрые от слез глаза концом передника. — Я же не плачу. Я только говорю, что надо бы подумать хорошенько.

— Я подумал! Последние два месяца я только и делал, что колебался и думал. То брал заявление назад, то подавал опять. Но теперь кончено. С понедельника я не работаю...

— Мамочка, — он быстро заговорил, не давая ей возразить, — мы продадим единственную нашу недвижимость — эту комнату. Я буду жить с Зотовым, а ты

поселишься пока у Матусевичей. У них три комнаты, и это будет недорого стоить. Мы уже договорились с Валентином. Главное, не думай, что я делаю все это с легким сердцем.

— Конечно, конечно, я понимаю,—поспешила согласиться Елена Федоровна, утирая руки полотенцем.— Поступай как знаешь!— вздохнула она.— Я тебе не помеха.

Величкин лег на кровать и закрыл глаза. Засыпая, он слышал, как мать, стараясь не шуметь, расставляла посуду в белом шкафчике.

Трамвай гудели мимо окон, а когда проезжал грузовик, дом вздрагивал и грясся, как-будто его прицепили на буксир к тяжелой машине и поволокли по выщербленной мостовой.

Уже совсем сквозь дымку сна Величкин думал о том, что за последние месяцы все точно сговорясь, убеждали его бросить изобретение: Франдель, потом Данилов, профессора, наконец мать. Все они явно не верят в успех изобретения, все советуют ему бросить баловство и заняться настоящим делом. Эти люди смотрят на него как на слегка тронувшегося и ждут его излечения. Чудаки! Что-то они скажут через полгода! Но пока все они против. Только Зотов! Нет. Иппокентии грубоват, иногда резок, циничен, но вот человек на которого можно опереться. Они пойдут вдвоем до конца! Дружба все-таки замечательная штука! Галя Что бы она сказала? Я бы взял ее за руку ..

Елена Федоровна тихонько подставила стул к изголовью кровати чтобы заслонить свет. Ее мальчик спал.

лежит на спине и счастливо полураскрыв рот. Елена Федоровна долго смотрела на затененное лицо Сергея. Ей много еще хотелось сказать ему.

Она рассказала бы ему, как его нужно было кормить грудью и присыпать рисовой пудрой, как пучило его маленький шелковый животик и как он болел корью в совсем темной комнате, и как, когда у него была скарлатина, она шесть недель прожила у его постели.

Маленькие они болеют, а потом вырастают. воюют, служат и женятся.

Сергей всегда был склонен к диким авантюрам. Сперва он хотел выкрасить себе глаза черной краской, потом убежал на войну. а теперь выдумал какое-то изобретение.

И какая это радостная, sentimentalная пытка вливать в них касторку, когда они еще не переросли стула. и отговаривать их от глупостей, когда они покупают длинные брюки и бритву. Но от касторки они зажимают зубы. а отговоры...

Они уходят в будущее. унося с собой материнскую кровь и позабытые материнские ласки, чтобы передать это драгоценное наследство своим внукам и внукам своих внуков. И от их счастья матери достаются только об'едки, и от их радостей — случайный и поспешный поцелуй. Они влюбляются и приобретают друзей. В этом — их жизнь. Но синяки, которыми награждает их судьба. отпечатываются и на плечах матерей...

Величкин спал, и ему снилось. что они втроем — он. Галя и Зотов — катаются в лодке. Он сидел рядом с Галей и одной рукой обнимал ее. а другой поворачивал руль. Он был счастлив, улыбался и. кажется. пел.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Проснувшись, Галя вспомнила, что вчера что-то случилось. Верней, она даже проснулась с этим чувством. Оно наполняло ее легкие, как воздух. Но что это было? Что произошло? Серьезный ли разговор, новое платье или какое-нибудь собственное важное решение? Минуты три Галя ловила воспоминание, как ускользающий мотив.

Но это не был ни разговор, ни платье. Она была влюблена—вот что это было, и, припомнив вчерашнее. Галя спрятала голову под одеяло. Она попыталась проанализировать ощущения влюбленной женщины, но ей удалось открыть в себе только желание выпить чаю со свежей булкой. Однако чаю с булкой ей хотелось каждое утро, и влюбление здесь было решительно не при чем.

Все было обычно, как календарь. На соседней кровати спала, подложив ладонь под щеку, Лена Кузнецова. В дверь царапался большой черный пес Карай, принадлежащий заведующему общежитием. Собака втерлась-таки наконец в комнату. Карай подошел к галиной кровати.

— Поди сюда, пес, — сказала Галя, беря его за уши. — Ты, как это водится, будешь поверенным моих тайн. Разумеется, тебе вовсе не хочется выслушивать всякие глупости, но согласия собак не спрашивают. К ним просто обращаются с излияниями.

Карай отрицательно махнул головой и сел.

— Пожалуйста, не спорь, пес, — заявила Галя, — так поступают в лучших домах и романах. Так вот, я влюблена, Карайка. Что ты на это скажешь?

Она посмотрела псу в глаза, точно и в самом деле ожидая ответа.

Но Карай предпочел сохранить свое мнение при себе. «У меня твердые взгляды на мир и на вещи, — казалось, хотел сказать он, — но я не человек и не стану навязывать тебе свои прописи». Пес громко и деловито постучал твердым хвостом по полу, Галя достала со стула блузку.

Первый день влюбленной жизни начался.

Галя носила свою влюбленность, как мундир. Она честно каждый вечер вспоминала лицо и смех Иннокентия, по субботам исправно ходила с Зотовым в кино, иногда вздыхала и однажды даже попудрила нос зубным порошком.

После кино Зотов заходил с нею в общежитие и оставался до одиннадцати — до того часа, когда тушили свет. Они пили чай за большим столом, и Рита пела своим ужасным басом песенку о том, как в Обжорном переулке нашли налетчика в кожаной тужурке и с тринадцатью ранами в молодецкой груди. Они сидели все вместе, смеялись и дразнили Лену ее толщиной, а Риту — каким-то военкомом. Потом Зотов уходил, Галя провожала его до ворот, и они целовались. Однако ни разу больше эти поцелуи не вызвали в Гале той сладкой истомы, какую она испытала в темном кино, когда Иннокентий первый раз погладил ее руку.

Два раза с Зотовым пришел и Величкин. Он сидел надувшись как мышь и внимательно изучал старый номер «Рабфака на дому».

Зотова удивляло поведение Гали. От южанки с черным пушком над верхней губой он ждал большей пылости чувств.

Чорг ее знает, целуется, как холодный чайник. — ворчал он, быстро шагая с Ильинки в свой Прямой. — Просто свинство какое-то.

Роман подвигался с непривычной для Зотова медленностью. Попытки Иннокентия расстегнуть какую-нибудь некстати торчавшую пуговицу Галя встречала холодным недоумением. Она смотрела на его суетливую возню с таким равнодушным любопытством, которое обескураживало вернее самого отчаянного сопротивления.

Всеми этими недоумениями и неудачами Зотов не делился даже с Величкиным.

Галя, собственно, и сама удивлялась такому обороту дела. До сих пор она думала о любви, как о встряске, перевортывающей жизнь, врывающейся в обыденное существование, как ветер на письменный стол. Но то, что она переживала сейчас, нисколько не соответствовало ее представлениям. Это была скучная, как плечой и длинный доклад, канитель.

Объективно расценивая качества и недостатки Зотова, она приходила всегда к одному выводу: это был человек, как-будто специально созданный, чтобы в него влюблялись женщины и по первому его слову отправлялись с ним открывать северный полюс или воровать репу.

Толстушка Лена краснела и начинала усиленно сопеть, как только в комнате № 13 появлялся Иннокентий Зотов. Даже нос бедной девушки покрывался потом так она была влюблена. А вот Галя не краснела, не лишалась аппетита, и сердце ее не замирало, как благонравное сердце золотоволосой героини на трехсотой странице английского романа. И в то же время ведь она

его целовала, а раз целовала, значит, любила. Поло-
жение было полно неразрешимых противоречий.

В одну из суббот, задержавшись в техникуме, Галя опоздала к назначенному для встречи часу. В другую брат подруги пригласил их всех на вечеринку. На вечеринке пили красное кислое вино, плясали кавказские танцы и пели «Моряка». После этого вечера они не виделись с Зотовым три недели.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В прениях по докладу директора фабрики первым выступил усатый худой ткацкий подмастерье Григорий Жигалин.

— Разве это, товарищи, правильно? — волновался он. — У нас станки совершенно беспоследственно стоят. Там, где надо бы на одного три станка, у нас чуть-чуть не трое на один станок! Толкутся, все равно, как пять кобелей при одной суке. Вот и где пропадают за-зря наши заводские, народные денежки, вот и где!

Жигалин набегал на слушателей, размахивал руками и ерошил волосы. Затем взял слово секретарь фабричного комитета Маршанов. Это был худощавый ядовитый мужчина с черными сгнившими зубами, большой любитель докапываться во всяком деле до корня. В каждом невинном поступке он усматривал и находил непонятные другим тайные пружины. Видимо подражая какому-то большому оратору, он говорил очень медленно, оставляя между словами такие широкие промежутки, что в каждом из них легко поместилась бы оседланная лошадь.

Это была размеренная и бесконечная, как шум швейной машины, речь.

— Оборотим, товарищи, внимание вот в какую сторону: я неоднократно затрагивал и приподымал вопрос о несклепистом отношении нашего уважаемого заводоуправления к решениям производственных совещаний. Выполнено ли постановление о дровах? — Оратор сделал паузу и пронизывающим взглядом засверлил слушателей, как бы вопрошая каждого: «А скажи-ка, любезный, выполнено ли постановление о дровах?» — Нет, постановление это не выполнено!.. — ответил он наконец сам себе. — Или заглянем в глубь вопроса об уборщицах: и тут дело обстоит не слава богу!..

Маршанова мало кто любил, но все в ячейке уважали его, считая дельным и умным работником. Импонировало его умение неутомимо нанизывать сотни бессмысленных и плавных фраз.

Выступил с речью и Илюша Францель, силившийся доказать, что из школы фабзауча вышла целая плеяда квалифицированных молодых рабочих и что эта плеяда плохо используется в производстве.

Величкин, как и всегда, выступал по разным поводам, спорил, не соглашался. Но он уже два месяца не работал на фабрике, и потому, хотя так же, как всегда, хлопал его по плечу Володька Татаринцов, так же, как и всегда, срываясь со стула, повертывался на каблучке Францель, а Данилов потихоньку допытывался, помогает ли при малярии коньяк с молоком, многое из того, о чем говорили намеками, полуфразами, как о чем-то всем известном, Величкину оказывалось новым и непонятным. Он чувствовал, что становится чужим, отделяется от остальных мутным стеклом.

Величкин взглянул на выползшего из-под обоев блестящего, свежестлакированного таракана. И тут ему не то, чтобы показалось, что он видел этого таракана и это пятно на обоях. Нет: он просто видел все это уже раньше.

Все было как сейчас. Горели сильные лампы под жестяными зелеными рефлекторами. Тени на потолке складывались в очертания верблюда. Он слышал вот эту самую фразу Данилова («ячейка должна взять в объятия и директора и завком»). Он так же сидел на столе, поставив ноги на табурет. Все это было!

Величкин вспомнил слышанную, читанную или выдуманную им самим забавную теорию о повторяемости всего существующего во вселенной. Нужно было только принять за данное, что количество материи представляет собою определенную, конечную, выразимую цифрой величину. Время же бесконечно. Материя в течение миллионов лет не исчезает, не теряется ни один из ее атомов. Меняются только формы, в которых существуют отдельные части этой материи. И как колода карт, если ее долго тасовать, в конце концов уляжется в одно из бывших уже раньше сочетаний, так вселенная, перепробовав тысячу тысяч разнообразных комбинаций, через много миллиардов лет, после бесчисленной тасовки, опять в точности повторит один из предшествовавших вариантов.

Все это, конечно, было ненаучным вздором... ну, а вдруг? И как мальчишкой он говорил себе: «Бога нет! А вдруг?» — и становился на колени, так сейчас он думал: «Это чепуха; ну, а если вдруг? И, значит, тогда этот таракан миллион миллионов лет назад так же семафорил длинными складными усами!»

Величкин не заметил, как его раздумье незаметно перешло в сон. Уже и заключительное слово было сказано и единогласно принята резолюция из тринадцати пунктов, когда он, дернувшись всем телом, проснулся. По счастью, он сидел один в плохо освещенном углу, и его сна никто не заметил, кроме деликатного Илюши Францеля, а этот человек не разбудил бы даже мухи, задремавшей на его собственном носу.

Данилов, видимо, приводил свою речь к концу:

— Я уже информировал вас, товарищи, — говорил он, — о причинах, побудивших Центральный Комитет нашей партии объявить эту мобилизацию. Деревня как никогда нуждается в честных, грамотных, квалифицированных и выдержанных работниках.

Еще одно замечание: несомненно найдутся товарищи, которые рады будут дать волю языку и станут заявлять: «ссылают, изгоняют, преследуют!» Нужно заранее оговориться: никаких ссылок и изгнаний здесь нет! Мы составляли свой список не из худших, а из лучших товарищей.

Часть намеченных высказала добровольное желание поехать, остальных предлагает бюро ячейки. При этом намечении были точно и объективно взвешены все обстоятельства. Обсуждение было самым тщательным и углубленным. Вопрос проработан со всей серьезностью. Оглашу сразу же и фамилии... Характеристики...

— Не стоит! — закричали ему. — Без характеристик! Знаем всех.

Данилов встряхнул портфелем и вытащил из него листок папиросной бумаги. При этом он обшлагом опрокинул предназначенную докладчикам воду. Медленно пробираясь поперек красного сукна, ручеек обо-

гнул графин и резную деревянную чернильницу, избражавшую избу, затем перегнулся через борт стола и мягко шлепая, закапал на пол.

— Павел Стратоницкий,—прочел Данилов,—Алексей Жбрыкунов!.. Евграф Дерябко.

После каждой фамилии Данилов подымал голову и, придерживая пальцем последнюю прочитанную строчку, взглядывал на присутствовавших, как бы испрашивая ассигновку сочувствия и одобрения.

— Зиновий Королев... Сергей Величкин...

Величкин сначала даже не понял.

— Я? — переспросил он невольно

Данилов молча кивнул головой.

Величкин оборвал клоч розовой промокательной бумаги и разорвал его на-трое.

Это было нелепо! Произошла глупая ошибка, которую нужно немедленно исправить! Он не может, просто не имеет права ехать! Данилов читал еще какие-то фамилии, что-то говорил, но ничего этого Величкин не слышал.

— Прошу слова, — сказал он хрипло, перебивая чью-то речь. К нему недоумевающе обернулись с передних стульев.

Большие часы выстригли своими стрелками еще пятнадцать минут из жизни Величкина когда наконец Данилов сказал:

— По личному вопросу слово имеет...

Величкин потер рукой пересохшие губы.

— Формально, может быть, это и так.—начал он,— но по сути дела мой вопрос далеко не личный. Это может показаться мальчишеством и самонадеянным хвастовством. но от того веду я завтра в деревню на

два года или нет, зависят серьезнейшие общие интересы. Я не хотел все это говорить, но приходится.

Величкин рассказал о резце, о своей работе, о том что уехать сейчас значило бросить большое и нужное дело.

— Я охотно уеду в любую глушь через полгода, но только не сейчас! — сказал Величкин. Он хотел сказать еще много, но, услышав, как кто-то из соседей довольно громко заметил: «баки заливаает парень», — сбился и молча сел на место.

Он опять оборвал край промокательной и стал жевать горячую соленую бумагу. Большие часы захрипели и торжественным гексаметром провозгласили восемь.

Из дальнего угла второй раз за сегодняшний вечер поднялся Маршанов.

— Предлагаю передать вопрос на усмотрение бюро, — сказал он. — Пусть оно расследует дело и беспристрастно решит. А то говорить что угодно можно. Может быть, мы и в самом деле имеем перед собою мирового изобретателя, товарища Колумба, а быть может, товарищ Величкин стал чересчур уж развитой и сознательный. Пусть бюро детально разберется. В случае, если причины уважительные, оставить в Москве; если же наврал — предпринять без родственных снисхождений самые строгие меры! Прошу так и зафиксировать мое предложение.

Не дождавшись голосования, Величкин вышел из комнаты. У ворот его догнал встревоженный отдувающийся Францель.

— Сережа, — сказал он, — хорошо, что я тебя все-таки попал! Брось эту бузу, Сережа, не стоит зря мордоваться! Что ты затеял итти против всей ячейки?

— Отстань, Илюшка! — сказал Величкин равнодушно. Он сбросил со своего плеча руку Францеля и не оглядываясь, пошел к трамваю.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Голодать невесело при любых обстоятельствах. Но голодать в большом городе, где на каждом углу дразнят сдобные ароматы борщей и кондитерских особенно тяжело.

Зотову и Сергею случалось проходить мимо столовых. Из раскрытых форточек и дверей в морозный воздух вырывались тяжелые, почти видимые и поддающиеся ошупи волны капустных, масляных, говяжьих запахов. Они стлались по земле и подымались из камней мостовой, как зной из раскаленного асфальта. На голодных изобретателей эти запахи действовали сильнее, чем тонкий шелк женских духов на обветренного в трехлетнем парусном рейсе матроса.

На тридцать рублей зотовской стипендии Иннокентий едва перебивался один. Жить на эти деньги вдвоем было слишком тяжело.

Червонцы, вырученные от продажи комнаты и мебели, Сергей разделил пополам. Пятьсот рублей отдали Елене Федоровне, а другие пятьсот друзья положили на книжку.

Эти деньги были нужны изобретению.

Снова, как когда-то, они спали на одной узкой кровати и по субботам фрились одной бритвой. Даже и бритва была все та же узенькая полоска стали, купленная Зотовым в Рыльске у мастера Жоржа Егорова

(вывеска: «Убедигесь в нашей работе! В ожидании вас, побывать у нас!»)

Изобретатели быстро распродали большую часть своего гардероба. Свинчатая на дворе стосвечная электрическая лампочка принесла им два рубля семьдесят три копейки чистой прибыли. Но операция с зеркалом сильно разочаровала их.

Зеркало было единственной скудной радостью зотовской комнаты. Оно стояло рядом с никогда не топившимся камином и отражало противоположную сторону Прямого переулка. Зеркало это принадлежало бывшему домохозяину, а теперь почтовому работнику гражданину Магила. Гражданин Магила регулярно дважды в месяц с переменным успехом судился с Зотовым из-за зеркала в разных инстанциях, и в конце концов для обоих вопрос о зеркале стоял вопросом чести.

Иногда гражданин Магила, не стучась, входил в комнату и, не обращая внимания на присутствие Зотова или Сергея, принимался рассматривать свою собственность. Он пальцем или носовым платком стирал пыль с резной рамы и пощипывал свою неправдоподобную, картонную бороду. Не произнося ни слова и не объясняя цели своего посещения, Магила поглаживал безразличное стекло, покашливал и, постояв три — четыре минуты, уходил так же молча, как пришел.

Друзья долго крепились. Они продавали старые брюки и ботинки, простыни и учебники, распростились даже с фронтowymi кожаными куртками, но зеркала не трогали.

Однако эта штука должна была очистить им никак не меньше двадцати пяти рублей двухнедельного обеда. Это был их последний шанс; и в воскресенье ут-

ром. завернув невинное сияющее зеркало в бумагу, они незаметно прошмыгнули в ворота.

Была случайная оттепель. Мокрый снег чавкал и оседал под ногами. На Смоленском рынке толпа стояла вплотную голова к голове. от Новинского бульвара до Арбата

Первый же торговец мебелью, у которого Зотов запросил за зеркало тридцать пять рублей, постоял минуту молча, как бы обдумывая. убить ли ему опасного идиота сразу или отложить исполнение этого необходимого предприятия до ужина. Не остановившись окончательно ни на одном из этих двух решений, он просто повернулся к Зотову спиной.

Приятели путешествовали от одного ларька к другому, но всюду они совершенно тщетно простирали зеркало торговцам. Коричневые двухспальные кровати и мощные шкафы стояли сомкнутым строем, щетинясь против чужака и не желая принимать в свой избранный. порядочный круг подозрительного пришельца. Странная сомнительная профессия зеркала — молчаливое созерцание красоты — казалось им нереспектабельной.

Многопудовые торговки и торговцы возвышались перед своими ассортиментами уютов, сами смахивая на промоздкие шкафы. Мелкая стая пискливых этажерок. неудобных стульев и нелепых пуфов злобно тявкала и чвптала за икры оборванцев. продающих украденную стекляшку.

Заблудившись в этой дубовой пыльной фантазматории. друзья забыли, где они уже побывали, и спутались все казавшиеся одинаковыми ларьки. Торговцы, видя. как возвращаются странные люди с зеркалом, заблагодарительно отворачивались или извлекали из нафталина приличествующие случаю каламбуры. Цены на зеркало

быстро упали до десяти, затем до семи рублей. но спрос упорно не повышался. Совершенно озверев, Величкин предлагал хватить проклятой побрякушкой о тротуар и, наказав таким способом недалеких торговцев, с честью удалиться; но тут один из крокодилов проявил неожиданное человеколюбие и предложил за зеркало три рубля. Как он впоследствии признавался в семейном кругу, ему «просто невыносимо было смотреть на несчастных молодых людей».

Час назад и червонец показался бы им оскорбительной ценой. Но сейчас они охотно покончили дело на трех с полтиной.

Три дня они безумствовали. Они без конца пожирали жареную, вареную, печеную, снова жареную, печеную и вареную картошку. В разные часы дня они радовали себя этими картофельными оргиями. Затем они случайно встретили на Тверской Валентина Матусевича. Он посадил их к себе в такси и угостил их опьяняющим обедом в хорошем ресторане. Но короткие дни купленного за три рубля счастья пробежали быстро. Снова началась голодовка.

Это не был тот голод, какой испытывает плохо позавтракавший человек за полчаса до обеда. Не была это и веселая литературная голодовка студентов Латинского квартала или Малой Бронной. Нет, это был настоящий, тяжелый, жгучий голод, выворачивающий желудок, как наволоку, грызущий внутренности, отшибающий работоспособность, придающий глазам волчий блеск.

О папиросах друзья забыли уже к концу первого месяца. Перед продажей зеркала дело дошло то того, что, возвращаясь вечером домой, они собирали окурки и дома вытряхивали из них табак.

И однако Величкин не жалел о том, что ушел с завода, а Зотов ни разу не вздохнул о вечерней чертежной работе, от которой отказался. Освобожденные от забот о пище и почти от самой пищи, они тем больше времени отдавали изобретению. А это и было главное.

Вернувшись домой из лаборатории в одиннадцатом часу, Зотов не нашел спрятанной утром половины моркови.

Чтобы хоть чем-нибудь обмануть желудок, Зотов принялся жевать случайно уцелевшую от лучших времен луковичу. Он ел ее без хлеба, но из озорства густо посыпав сахаром. Вместо того, чтобы зажечь электричество, разбудить Величкина и начать работать, Зотов лег на кровать и закрыл глаза.

Никогда после он не мог определить, было ли виденное им в тот вечер сном или воспоминанием: для сна все было очерчено чересчур отчетливо; для воспоминания — слишком образно и ярко. Он даже чувствовал, как жжет голые плечи июньское волжское солнце.

Иннокентию не было еще двенадцати лет. Это был последний вольный год перед заводом. Как и все мальчишки, он жил на реке. Трудно было подсчитать, сколько раз в день купались мальчишки. Они попросту сидели в воде весь день, с короткими и редкими перерывами для еды. В свободное от купанья время они либо ловили рыбу, либо уезжали на легкой лодке за Волгу, на песчаный отлогий берег.

Плавали и ныряли все они отлично, но широкогрудый Кешка Зотов превосходил всех. Ему ничего не

стоило просидеть под водой полминуты. На семисаженой глубине он, ныряя без камня или груза, вышосил со дна ил. Вынырнув, он шумно мотал головой, жмурил ослепшие от яркого света глаза и потрясал измазанной славной грязью ладонью.

В этот день все шло обычным чередом: удили стерлядь, купались в крутых волнах самолетского парохода, переплывали Волгу. Часов около трех на берег пришел сторож пакгаузов, обросший и злой мужик. Его маленькие глазки терялись в густых, непролазных дebraх бороды и бакенбард. Он не спеша разделся, аккуратно, чтобы не унес ветер, придавил белье большим камнем, намочил темя и медленно, крестясь и вздрагивая, осторожно наступая на каменистое дно, полез в воду.

Ребятишки смеялись и взвизгивали, глядя, как он тяжело и неумело поплыл. Он фыркал, громко бил по воде ладонями и отплевывался.

— Чучело! — кричали мальчишки. — Плывет по бабьи.

Потом они решили утопить мыло. Розовое мыло было дешевое и очень пахучее.

Зотов завел руку подальше, размахнулся, как размахивал камнем по голубям, и запустил скользким тяжелым комочком в белый свет. Далеко от берега мыло мягко скользнуло в воду.

Сторож вылез из реки, похлопывая себя по мокрым ляжкам, вытряс из ушей воду и решил помыться. Он подошел к белью и увидел, что мыла нет.

Ребята, насторожившись, ждали, что он станет делать дальше. Они готовились к крику, ругани и погоне. Но сторож молча принялся одеваться.

Зотов почувствовал даже некоторое разочарование. Он рассчитывал на большой эффект от своей выходки.

Не решив еще, что собственно он сделает, Иннокентий подошел почти вплотную к сторожу и остановился. Сторож не обращал на него внимания. Зотов обернулся к ребятам. Он видел, что они ждут от него какого-нибудь трюка.

— Чорт рыжий! — закричал он неожиданно для самого себя почти в самое ухо невозмутимому сторожу.

Однако сторож только сопел и даже не обернулся. Он нагнулся и завязывал тесемки кальсон. Вопреки установившейся за ним репутации, враг был настолько смирен и незлобив, что, собственно, не стоило бы его и задирать.

Зотов подошел еще ближе, с любопытством разглядывая татуировку на волосатой груди мужчины.

Совершенно неожиданно, не крикнув и не выругавшись, сторож вскочил, и, прежде чем Зотов успел понять, в чем, собственно, дело, его уже крепко держали за плечи.

— Пусти, дяденька! — взмолился Иннокентий. — Ея-богу, я больше не буду!

Но «дяденька» только сопел и крепче стискивал плечо мальчика. Товарищи кинулись в разные стороны. Они даже не попробовали запустить камнем в озлобленного сторожа. Уж очень был он страшен: с раздувающимися от злости ноздрями, заросший по всему телу рыжей шерстью, лохматый, в голубых облипающих подштанниках.

Все дальнейшее сделалось быстро и молча. Сторож не говорил, как-будто боялся зря расплескать злобу

Зотов тоже молчал, чувствуя, что просьбы и всхлипы вания напрасны.

Он только вертанулся раза два, пробуя вырваться но рыжий держал крепко.

Сторож сгреб мальчика в охапку и, прижимая его к волосатой, пахнущей потом груди, прошел до конца далеко выступающих в реку мостков. К этой деревянной пристани причаливал два раза в день маленький пароходик местного сообщения.

«Топить хочет», — подумал Зотов.

И в самом деле, рыжий хотел утопить мальчишку. Пятикопеечный кусок мыла стоил примерного наказания.

Сторож осмотрел пустой берег. Никого в этот дневной час не было видно. Мальчишки разбежались.

Он быстро с силой оторвал руки Зотова от своих плеч и погрузил мальчика с головой в воду.

Присев на корточки, он держал Иеннокентия, не давая ему вырваться наружу или высунуть из воды голову.

На второй минуте у Зотова затрепыхали веки, зеленые круги пошли перед его глазами. Легкие и грудь распирали изнутри. Они готовы были взорваться. Хотелось открыть рот и втянуть в себя побольше воздуха, распахнуть губы навстречу жизни. Но Зотов знал, что это была смерть, и стискивал зубы. К концу второй минуты это уже не был волевой импульс, а инстинктивное почти судорожное движение.

Сторож отпустил мальчишку. Прошел достаточный срок для того, чтобы утопить даже кошку.

Каким-то обломком сознания Зотов понял или скорее почувствовал, что выныривать сейчас нельзя. Рыжий стоял на мостках над ним, и, покажись он, попытка

началась бы сначала. Зотов нырнул под мостки и медленно разгребая воду, поплыл к берегу, к тростникам. В обычное время эти пять—шесть метров он проныривал в несколько секунд. Сейчас ему потребовалось не меньше минуты. Но он плыл и плыл. Колокола гудели вокруг него и зеленые круги плыли рядом с ним. Вода протекала меж его растопыренных пальцев. И вдруг он головою коснулся камыша. Еще несколько движений—и со всех сторон его загородили зеленые тонкие тростники.

Голубая стрекоза села на край длинного листа и перегнула пополам резиновое тело. Зотов дышал и глядел на солнце. Пересохший язык с трудом помещался во рту.

Инокентий никогда не думал, что дышать так приятно.

Воздух втекал в рот, как имбирный квас. Зотов осторожно выглянул в просвет тростников и увидел, что рыжий в одних кальсонах сидит на краю мостков, свесив ноги в воду.

Зотов, скорчившись, пролежал в камышах до заката. Кожа на концах пальцев сморщилась и покрылась мелкими складками.

Рыжий все сидел и оглядывался по сторонам. не вынырнет ли утопленный озорник. Наконец, успокоившись, он обулся и пошел домой.

Зотов, одеваясь на-бегу, бросился к насыпи. Он ничего целый день не ел, перед глазами еще иногда суетились зеленые круги, плечо ныло, ссадненное и почти вывихнутое грубыми пальцами сторожа.

По их собственной мальчишеской тропинке, где столько раз играли в казаки-разбойники, Зотов взбе-

жал на насыпь. От быстрого подема сердце его колотилось. Он залег за колодой снеговых щитов и, стискивая захваченный с берега булыжник, стал ждать.

Сторож показался вскоре. Тяжело дыша, он взбирался по другой, более отлогой тропинке, проходившей под тем самым местом, где лежал Зотов. Как нарочно он снял шапку и обмахивал ею потное лицо.

Зотов присел на корточки. Лохматая голова и нос, плавающий в волосах, как красный бакен в волжских волнах, все приближались.

Голова поровнялась с краем насыпи. Вот уже она выдвинулась из-за песчаного борта, как луна из-за каемки облаков.

Зотов размахнулся доотказу и изо всей силы ударил камнем по этой выдвигающейся луне. Сторож охнул и опустился на колени. Иннокентий бросил потеплевший от крови камень и побежал домой.

Рыжего на другой день свезли в больницу. Две недели он пролежал на меже между жизнью и смертью.

Темнота сгущалась в углах комнаты. Пятна скорпионами крались по обоям. Зотов разбудил Величкина и зажег свет. Скорпионы и воспоминания пропали. И только много позже, когда к двум часам изобретатели, в третий раз проверив вчерашние расчеты, убедились, что ошибка в знаке сделала недействительной трехдневную работу, что вычисления нужно начинать сызнова, Зотов сказал:

— Ни чорта, вынырнем! Надо только не дышать раньше времени.

— Что? — переспросил Величкин, не поняв

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Так как Величкин сказал, что не может серьезно разговаривать на голодный желудок, Данилов зашел с ним в ближайшую пивную и потребовал сосисок и пива.

Пиво начиналось пышно. Оно вздувалось и шипело над бортами кружек. Пена переливалась через край и медленно стекала по блестящим желобкам. Но холод ожидания успокаивал и принижал напиток. Пена опадала, и поверхность заравнивалась. Только редкие белые полосы бороздили желтизну, как легкая сетка каналов, наброшенная на круглую фотографию Марса.

— Сережа,—сказал Данилов, утирая губы,—знаешь, о чем я хочу с тобой говорить?

— Конечно, знаю, — не задумываясь, ответил Величкин.

Он и в самом деле знал. Разговор мог быть только об одном.

— Значит, ты в деревню не поедешь? — спросил Данилов.

Величкин разрезал сосиску. Под тупым ножом она прогибалась, и концы ее подымались с тарелки. Потом лопалась тонкая кожура, и соленые, жирные брызги расплывались на бумажной салфетке.

— Не поеду! — мрачно сказал Величкин. — Все?

— Нет, не все! Ты должен все же поехать, и вот из каких соображений. — И Данилов стал методически излагать свои соображения.

— Я знаю, — говорил он, — что постановление не совсем справедливо. Откровенно говоря, я на бюро возражал против твоей командировки. Но ведь ты.

Сереза, не со вчерашнего вечера в партии. Раз постановление вынесено, значит точка! Ша! Умри, а сделай! До постановления мы могли спорить и бунтовать сколько угодно. Но теперь — кончено! Ты ведь и сам должен знать. Дисциплина, брат, святое дело!

— Все это я знаю. Тысячу раз слышал и сам говорил, — нетерпеливо возразил Величкин.

— Вот, вот! Ты и посмотри, какая петрушка получается: выходит, что для всех будет один закон, а для нас с тобой совершенно другой. Как только дело коснулось собственной рубашки, так ты начинаешь скрипеть и «мордоваться», как говорит Францель.

— Брось! — сказал Сергей злобно. — Я не шкурник! Ты не имеешь права так со мной говорить.

Оставь эти фразы! Разговоры в пользу бедных и парфюмерные любезничанья никому не нужны! Я говорю тебе правду и имею на то полное право. А если хочешь, бросим вообще весь разговор. попрощаемся. и точка.

— Не в парфюмерных словах дело, а в сути. Вопрос для меня идет вовсе не о своей рубашке. Это — вздор! Я занимаюсь изобретением резца ничуть не ради того, чтобы заработать много денег или славу всемирного изобретателя. Мне это вовсе не нужно! Все равно и знаменитости такое же носят белье, как и мы с тобой. Слава ничего не прибавляет и не убавляет человеку. Я отлично жил бы и дальше без нее. Но я чувствую себя обязанным перед всеми вами, перед своим партийным билетом. Понял ты? Мне бросить работу было бы то же самое, что инженеру Графтио уехать от Волховстроя телеграфистом в Чугуев!

— Не совсем, конечно. то же самое...

— Совсем! Больше чем совсем! Экономия от моего резца составит по одному Волховстрою каждые три года. Пойми ты это!

— Как говорится в анекдоте, — усмехнулся Данилов, — тут есть две возможности: изобретение либо удастся, либо нет. Как и чем ты докажешь, что оно удастся? Ну, допустим, я тебе верю и на тебя надеюсь. Но что же, я пойду в райком и скажу: «Я, мол, Сергею Величкина хорошо знаю, и из его изобретения будет толк. На этом основании отмените решение ячейки». Так, что ли? А отзывы каких-нибудь комиссий у нас с тобой есть? Нету! Удачные опыты в присутствии специалистов у тебя были? Не было! Нет. Серега, ничего не выйдет, надо ехать!

Удовлетворенный логичностью своих доводов, Данилов допил вторую кружку и откинулся на стуле.

Опьянение пришло к Величкину быстро. Величкин видел все предметы ясными и точно очерченными, но удаленными. Он словно рассматривал их в бинокль, поставленный на уменьшение. Голос Данилова тоже слышался отчетливо. Каждая фраза торчала из какого-то ровного, странного гула, как гвоздь из стены. Сергей забавлялся тем, что зажимал пальцем и снова открывал уши. Гул то прекращался, то снова включался. Он был похож на запись на телеграфной ленте.

— ...И вот он дал ей маленькую бутылочку с черной жидкостью и сказал...

Величкин понял, что Данилов говорит уже довольно давно. Речь шла о каком-то замечательном лекарстве от малярии. Рассказ, разумеется, закончился так:

— ...И что же? Малярию как рукой сняло!

— Бывает, — великодушно согласился Величкин. — Аналогичный случай произошел в Тамбове. Кошке отрубили голову, потом смазали разрубленное место особой красной глиной, приставили ослиную голову, и она приросла!..

— Ослиная голова приросла к кошке? — удивился Данилов...

— Нет, к тебе! — тотчас ответил Величкин и громко засмеялся своему пьяному остроумию.

— Сергей, — сказал Данилов, когда перед ними поставили новый запас пива, — вопрос о тебе стоит ребром... Вплоть до исключения, — закончил он, взвешивая в руке пустую бутылку. — Как же мне быть? Защищать тебя или нет? Подожди отвечать! — поспешил он хотя Величкин и без того молчал. — Скажи, как бы ты поступил на моем месте?

— Я на твоём месте?

— Да, да! Ты — присланный секретарь ячейки. Против тебя все время бузит группа влиятельных местных ребят. Каждый неосторожный шаг используют разные Марцгановы, которые думают не об интересах дела, а о хороших партийных должностях и о командовании. Люди идут на всякую демагогию. И тут встает вопрос о парне, твоём друге, который не хочет ехать в деревню и нарушает уже утвержденное райкомом постановление. Что бы ты стал делать?

— Да, обстановка действительно того... — промямлил Величкин.

— Ну, а даже помимо обстановки? Просто ты ставишься с парнем-активистом, наплевательски относящимся к партдисциплине. И это в серьезнейшем вопросе. Как ты поступишь?

— Я бы взвесил все его мотивы.

— Уже взвешены и нами и райкомом. Вес недостаточен.

— Ну, чего ты ко мне пристал? — буркнул Величкин. — Решай, пожалуйста, сам!

— Нет, скажи свое мнение! Только объективно и беспристрастно! Даю тебе честное слово сделать, как ты велишь.

Величкин сразу протрезвел. Он понял, что Данилов не врет и не шутит. Этот разговор решал судьбу Сергея Величкина на многие годы, а может быть, и на целую жизнь. Жизни без партии Величкин не представлял. Это была уже только половина жизни. И тут рядом с ним сидел его последний шанс и окунал усы в бурое пиво.

В соседней комнате давно уже назревал скандал между двумя пьяными компаниями. Оттуда слышалась оживленная перебранка. Раздался сухой звук пощечины.

— Абраша, Лева, ко мне! — закричал кто-то срывающимся в дискант голосом. — Я не позволю!..

Общий шум и дребезг разбитого стекла заслонили конец фразы. Затем все стихло.

— Что же, — сказал Величкин, расстегивая и снова застегивая ворот. — Рисковать можно только своей шкурой. Я вовсе не хочу, чтобы из-за меня Маршанов поставил тебе подножку.

— Вернее, не мне, а работе, — сказал Данилов.

Величкин заметил, что пиво каплет со стола на его колени и на ботинок, но не отстранил ноги.

— Значит, как же? — осторожно спросил Данилов.

— Значит, я бы на твоём месте голосовал за исключение. — Сказав это, Величкин рассердился и на себя

и на свое несчастное благородничество и особенно на Данилова.

— Теперь ты счастлив? — язвительно спросил он. — Ответственность с тебя разгружена? Ну, конечно! Я же сам попросил навязать мне петлю на шею. Просто, я люблю такой сорт галстуков. Замечательная штука: придушить человека да еще предварительно требовать с него записку: «В смерти моей прошу не винить».

— Зачем ты это плетешь? — медленно сказал Данилов. Как всегда, когда волновался, он принудил себя говорить не спеша, чтобы не уронить лишнего слова. — Я тебя за язык не тянул. Коли ты думал, что... — Данилов приостановился, не решаясь сразу высказать тяжелое слово, — что и с к л ю ч а т ь, — с натугой произнес он, — не следует, так бы и сказал.

Он стряхнул пепел с остывшей папиросы в собственную тарелку.

— Извини, — сказал Величкин. — Я дурак. Мне надо было, как ты это делаешь, досчитать до тридцати, чтобы притти в норму. Давай выпьем.

— Нет, — сказал Данилов. — Больше здесь пить я не буду. Неудобно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Величкина исключили из партии.

На самом деле это оказалось еще тяжелее, чем он себе представлял.

Иногда его отвлекали и развлекали мысли, дела и разговоры. Но за всеми мыслями, делами и разговорами стояла, как стена, эта тупая, ноющая боль. Так из

городского шума вырывается то жалобная флейта слепого, то крик роженицы. Но и за флейтой и за криком стоит этот ровный и непрекращающийся гул, сочетающий в себе тысячи разных шумов.

Но чем тяжелее ему было, тем упорней и больше он работал. Конец работы означал ведь и конец этой опухоли в сердце.

Толщина или, вернее, тонкость пластинок стали, колебавшаяся между лезвием безопасной бритвы и папиросной бумагой, была установлена окончательно. Выбран был и материал — сталь, стоящая посредине между молибденовой и углеродистой. Все расчеты, составленные предварительно для углеродистой стали, были пересчитаны для этого нового материала.

Изобретатели, как и прежде, отдавали вечер подсчетам, а с утра отправлялись на завод, чтобы самолично наблюдать и ускорять прохождение своего заказа. Им казалось, что и директор, и заведующий производством, и все мастера думают только о том, как бы задержать и затянуть заказ. И в самом деле на это было похоже. Дело можно было бы исполнить в пять—шесть дней, а вместо этого оно затянулось на несколько недель, несмотря даже на то, что то Зотов, то Величкин врываются к директору и бурно протестовали против такого темпа работы. Директор, латыш Тиберг, только покачивал головой и говорил:

— Ой, какие горячие молодые люди! Какие горячие! Прямо горячий зуп! (Он вообще выговаривал з вместо с).

Молодые люди могли нервничать и ругаться в свое удовольствие, но среди огромных заказов на оборудование электрических станций и новых заводов их заказ

был, конечно, и маленьким, и невыгодным, и к тому же чрезвычайно трудным технически. Стали такой тонкости и такого качества на заводе еще никогда не изготавливали. Если бы не настояния Лавра Петровича, завод конечно, не взялся бы за такое дело, но даже сейчас взявшись, он медлил и тянул.

Однако, несмотря на все задержки, проволочки и препятствия, в торжественный пасмурный декабрьский день из прокатного цеха вышли три листа стали толщиной в 0,0065 миллиметра. Зотов и Сергей радостно ощупывали сталь и терли ее между пальцев, как женщины, покупающие батист.

Хрупкий, необычайной тонкости металл блестел на срезах.

Резец должен был состоять больше чем из тысячи пластинок. Нужно было вычислить все углы, под которыми эти пластинки предстояло спаять. Эта работа заняла еще полторы недели да еще две недели взяло изготовление пластинок, сварка их и окончательное определения угла резания. Наконец выбрали день испытание резца. Испытание назначили на двадцать третье в институтской мастерской. Оставалось три дня.

Делать было решительно нечего. Были готовы не только все расчеты и вычисления, но и самый резец. Оставалось только ждать.

Вечером 21-го числа Зотов предложил Величкину, чтобы убить время, «пойти на подножный».

Путешествие «на подножный» заключалось в том, что, когда друзья доходили до крайнего отощания и, глядя на свои чертежи, видели вместо них миски дымя-

щегося славного борца, они отправлялись к кому-нибудь из знакомых подкрепиться. Чаще всего этим «кем-нибудь» оказывались девушки из галиного общепития. Так случилось и сегодня.

Многие из девушек были безнадежно влюблены в Зотова: своими глубоко запавшими серыми глазами он прямо-таки искалечил сердца толстушки Лены и веселой Риты. Но Зотов не смотрел ни на кого, кроме Гали. Не в его правилах было отходить в сторону, не добившись своего.

К Величкину девушки тоже относились хорошо. Но на него они смотрели как на двоюродного брата и, вежливо, не стеснялись бы переодевать при нем юбки.

Бывают же такие незадачливые люди! Женщины их уважают, ценят их ровную и спокойную дружбу, поверяют им любовные увлечения, поручают нянчить ребятишек, в награду целуют их в лоб, но и только.

Величкину, как почти всякому здоровому молодому мужчине, каждая женщина казалась привлекательной. Это не была, конечно, любовь. Он любил Галю. Но всякое даже не нарочное прикосновение, случайная нескромная поза, подвернувшееся платье, мелькнувшее нагое плечо пробуждали в нем мгновенное желание. Аскетизма и бесплотности в нем не было и на копейку. В его жилах текла настоящая горячая кровь. И все-таки все улыбки и замирающие вздохи вплетались только в зотовский венок. Такая уж была злосчастная планида Сергея Величкина! По крайней мере, он сам записал, что женская любовь не для него.

Добравшись до этого вывода, Величкин стал еще тщательней отделяться и отгораживаться от Гали. Он изо всех сил старался не оставаться с нею наедине. Когда

она входила в комнату, он немедленно начинал бесцельный и оживленный разговор с какой-нибудь из девушек. Если же она первая заговаривала с ним, он с'еживался и явно спешил подставить на свое место Зотова.

Эти маневры были так явственны и странны, что Галю они удивляли и обижали. «Этакая преданность другу», — думала она. Не понимая и не желая понять причины такого поведения, она решила, что Величкин просто считает ее душой и не желает с ней разговаривать. Он, например, в общих спорах никогда не оспаривал ее мнения и возражал кому угодно, только не ей.

Рите родители прислали посылку. Там был чудесный розовый, ровно запеченный окорок, хрустящее, тающее во рту печенье и банка меда, золотистого, как березовый закат.

Большой некрашенный стол, громоздкий и неуклюжий, как саркофаг, выдвинули на середину комнаты. Из всех комнат собрали восемь разномастных стульев — венских с изящно выгнутыми породистыми шеями, плетеных с прорванными или обвисшими сиденьями, обыкновенных табуреток с торчащими гвоздями и подгибающимися ногами.

Кроме Зотова и Величкина пришли еще несколько молодых людей, с которыми друзья встречались здесь уже не раз. Они тоже, скинув пиджаки, таскали стулья, резали окорок и громыхали двумя жестяными тарелками, в двенадцатый раз переставляя их с места на место. Все острили, громко смеялись, старались возможно больше суетиться и производить максимум шума, грохота и лязга.

Величкину остроты казались плоскими и суета утомительной.

Он сел на угловую кровать и стал с бессмысленной серьезностью просматривать учебники экономической географии.

Рита была худенькая веселая девочка с густым, извозничьим, как она сама говорила, басом. Ей приходилось сгибаться под тяжестью собственного голоса.

Она, смеясь, сообщила, что сумасшедшая учительница из прежнего общежития видела у них Величкина. влюбилась в него и теперь, кажется, собирается посвятить ему свою знаменитую диссертацию.

— В меня вообще влюбляются или сумасшедшие или старухи, — со злостью ответил Величкин.

— Правильно! — поддержала Рита. — Существует очевидно, какое-то внутреннее сродство душ.

Разговаривали о поездке на юг и о книгах. Лена рассказала какую-то длинную историю о своем брате, перебивая слова неожиданным хохотом. хотя как-будто ничего смешного она не сообщала.

Зотов весь вечер беседовал с Галей. Они говорили тихо, и Величкин напряженно всматривался в их лица, силясь понять, о чем идет разговор.

Зотов и Величкин быстро шли домой по опустевшим улицам.

— Все-таки они хорошие девки — сказал Величкин, обращаясь как-будто сам к себе.

— Да, есть за что подержаться, — подтвердил Зотов, умышленно неправильно истолковывая. — Лена, например (Ему хотелось говорить об этих женщинах

злобно и грязно. Сегодня Галя сказала, что жалеет об ошибке, что была не любовь, а случайность).

— Я вовсе не о том, — отмахнулся Величкин. — Дело не в мясе и даже не в красивости. Они какие-то славные. Я чувствую себя у них тепло и просто. Даже теперь, в такие паршивые для меня дни..

Он замолчал. Снова, как все эти недели, зачыла опухоль в сердце.

— Это не по моей части. — Зотов даже свистнул. — Все это неважно. Если женщина некрасивая, ты на ней не женишься, хоть будь она двадцати семи дюймов во лбу.

— И не собираюсь жениться, — со скукой выговорил Величкин. Тупая боль не проходила. «Данилов был прав», — подумал он и сказал: — Я говорю о них просто и только как о товарищах.

— Ерунда! Никакого товарищества с бабой на свете нету и никогда не было. Люди могут дружить год и кончат все-таки тем, что будут спать вместе или разругаются.

— Ты гениально предвосхищаешь старика Владимира Мономаха или как там звали автора «Слова о полку Игореве»

— Совсем нет. Никакие «Домострои» здесь не при чем. Мне вовсе не нужна покорная жена, патентованная производительница котлет и ребятишек.

— Чего же ты тогда хочешь? Женщина-друг тебе не подходит, не годится тебе и «покорная, работающая жена».

— Зачем так ограничивать выбор: или стоптанные валенки, или яловочные сапоги. А если хочешь лакированные ботиночки с узким носком и на французском

каблуке? Друзья? У меня будут и есть друзья — мужчины, люди, с которыми возможна настоящая дружба, которые умеют пожимать руку и понимают скрытые движения частиц твоего мозга. Обед может отлично приготовить повар в ресторане или какая-нибудь экономка. А от женщины требуется совсем иное.

— А именно?

— Я уже сказал. Женщина в туфлях на французском каблуке — вот что мне нужно.

— Значит, достаточно напаять на нее, — Величкин бесцеремонно кивнул головой на трамвайную стрелочницу в брезентовом плаще и с мастодонтовыми ногами, — твои французские каблуки, и ты будешь бегать за ней?

— Нет, в этой обуви рождаются. Я говорю, конечно, фигурально. Для меня это просто символ. Я мечтаю о женщине гибкой и грациозной, с талией как у ласточки. Она должна замечательно играть на рояле и детским, слегка картавым голосом говорить очаровательные, рискованные двусмысленности.

Зотов остановился и взял Величкина за рукав. Он всерьез увлекся тем, что говорил.

— Эта женщина должна быть в толпе, как белый голубь среди сизых.

— Или как белая ворона, — вставил Величкин.

Но Зотов не слышал его реплики.

— Она будет достаточной наградой за борьбу, неудачи, поражения, голодовки, драки и бессонные ночи. Дорогу сильному! Это его награда! Она очаровательна и чуть-чуть развращена. Я одену ее по всем модам и буду любить, как чорт. Когда она пройдет по улице, за нею полетят, как пули, взгляды воспаленных мужских

глаз. Для нее возбуждать желание будет так же естественно, как для рыбы плавать в реке и для тебя говорить глупости.

— А ты станешь сидеть в креслах, — добавил Величкин, — пскуривать трубку и чувствовать себя законным обладателем дорогой игрушки.

Зотов кивнул головой:

— Примерно!

— Но ведь так может рассуждать и, вероятно, рассуждает любой толстобрюхий рантье. И у него тоже жена — дорогая игрушка. Она изнывает в праздности и ходит на высоких каблуках и возбуждает вожделение и дажс, — Величкин хихикнул, — частенько удовлетворяет его. Ты думаешь, что изрекаешь бог весть какие умности, а плетешь просто пошлость. Нет, мне нужна женщина, а не кукла в дорогих тряпках и с механическими умелыми об'ятями! Понимаешь: Женщина — с прописной буквы.

Вместо ответа Зотов фыркнул и спросил:

— Что это еще за женщина такая? Мысль докладчика не ясна.

— Очень ясна. Женщина, которая читает то же, что и я, думает о том же, что и я и все мы, идет рядом со мной. целует меня горячими губами и улыбается мне. Друг и вместе возлюбленная — вот что это такое!

— Таких нет! — категорически возразил Зотов. — Я знаю, где ты ее будешь искать. Но либо твоя женщина-друг на другой день после свадьбы обрстет жиром и поглупеет до степени домашнего граммофона, либо окажется умной вузовкой. Даже, выгибаясь под тобой, она станет цитировать третий том «Капитала». по рассеянности будет варить носки в супе, а когда ты

не пойдешь в среду на собрание, устроит тебе сцену и истерику. Они возвращаются домой ночью с каких-то таинственных заседаний, а мужья сидят в пустых комнатах голодные и ревнующие и щелкают зубами. Ко всему этому она пышно вырядится в кожаную куртку и огромные сапоги и в таком позорном виде отправится с тобой в кинематограф. Нет, брат. эти партийные браки хороши только на плакатах.

Величкин почти не слушал. «Ты не пойдешь в среду на собрание», — сказал Иннокентий. Чудак! Ну, конечно же, он не пойдет в среду на собрание. Удивительно умно напоминать горбатуму об изящном выгибе его спины.

— Таких женщин, как ты говоришь, нет. — продолжал между тем Зотов.

— Нет, есть такие женщины. — ответил Величкин. — Никто не виноват в том, что ты их не видишь.

«Но эти женщины не для вас, Сергей Величкин». — подумал он про себя.

На следующий день, в канун испытания, Зотов и Величкин никуда не пошли. Чтобы «скрасить ожидание», они затеяли совсем ненужную проверку своей полугодовой работы.

Они вытащили из-под стола и с полок все чертежи, тетради, черновики и варианты. От пыльных листов шел затхлый запах архива или книгохранилища. Это был дневник последних семнадцати месяцев. Каждый листок сохранил на своих полях отпечатки пальцев, мыслей и чувств. Одни листы радостно улыбались, хлопая изобретателей по плечу и напоминая им неожиданный

ные победы; другие хмурили брови и низко надвигали козырьки. Им было стыдно.

Строчка за строчкой Величкин и Зотов заново просмотрели и проверили всю работу... Вот этот чертеж им пришлось делать дважды, потому что первый вариант Величкин нечаянно залил тушью, а когда они его сделали, оказалось, что все сработано неверно и нужно переделывать заново. Эту вот синюю тетрадь закончили в тот вечер, когда вошла Галя в меховой шапке. Они еще боролись тогда и изломали кресло. Сколько бы за него дали на Смоленском? Зотов вздохнул о кресле, Величкин — о Гале.

Величкин долго не засыпал. Зотов ровно и густо дышал в подушку и медленно, но убедительно стаскивал с него одеяло.

На стене против окна отпечатались два светлых прямоугольника. В них дрожала и переливалась рябь; они то прояснялись, то темнели. Потом прямоугольники исчезли. По городу, как ночной сторож, прошел третий час зимней ночи и погасил фонари.

Величкин хотел спать. Глаза его горели, веки склеивались, но едва он начинал дремать, как кто-то дергал его одновременно за руки и ноги. Вздрогнув всем телом, он просыпался.

Перед ним дефилировали ряды и колонны цифр. Величкин перемножал их, стучал их лбами друг о дружку и логарифмировал. Они то угасали, то вспыхивали, как огненная вывеска кинематографа.

— Чего я мучаюсь? — говорил себе Величкин. Ведь все проверено, все точно.

И тотчас он сызнова принимался логарифмировать; делить и припоминать. В голове у него, как в арифмо-

метре, вертелись и шипели колеса и шестеренки. Иногда какая-нибудь цифра заскакивала и терялась между зубьев. И тогда ее нужно было во что бы то ни стало вспомнить. Роняя другие цифры и рассыпая их, память кидалась в мучительную погоню. Работа арифмометра переходила уже в бред, в кошмар, когда наконец к изголовью кровати подошел на резиновых подошвах сон и теплой, пахнувшей мятой рукой остановил машину

Величкин проснулся, когда Зотов уже фыркал за стеной.

Войдя в комнату, Зотов открыл форточку и приладил ее так, что получилось в роде зеркала. Он причесывался, точными движениями раскладывая на сторону волосы, устанавливая свой незыблемый, как виадук пробор.

Величкин вскочил. Ни ослабляя, ни натягивая мускулы, он не мог унять нервную дрожь. Его трясло, как в малярии.

Ивнокентий внимательно посмотрел на него и, должно быть, понимая его состояние, положил Величкину руку на плечо.

— Брось! — сказал он как мог мягко. — Не расстраивайся! Нечего дрейфить!

Величкин даже не чувствовал голода, хотя они ничего не ели уже шестнадцать часов, да и перед этим не слишком излишествовали. Только голова слегка кружилась. Она была легка и неустойчива, как раскачивающийся по ветру фонарь.

Величкин попробовал запеть свой любимый «Веселый разговор». Но даже и в это утро Ивнокентий не

мог спокойно слушать пение Величкина. Со страдающим зубоврачебным лицом он зажал уши и стал просить Величкина замолчать. По меткому выражению Валентина Матусевича, Величкин пел так, что лошади с испугу заорывались в далекие переулки и долго оттуда не выходили.

Разлинованные в клетку окна мастерской еще скупо фильтровали поздний и по-ученически неумелый зимний рассвет. Трансмиссия одиноко тосковала под бетонным потолком. Величкин вставил один из трех приготовленных с вечера резцов в станок и вспотевшей ладонью взялся за рукоятку. Но Зотов остановил его.

— Погоди, Сёргун! — сказал он и глубоко вздохнул, набирая воздух, как для прыжка в воду.

Они постояли минуту молча, глядя друг другу в глаза, и, не сказав ни слова, пожали друг другу руки. На них смотрели немногочисленные в этот час посетители студенческой мастерской. Большинство пришло только потому, что хотело своими глазами видеть провал зотовского изобретения. Все они дружески хлопали Зотова по плечу, звали его по имени и с нетерпением ждали, когда же наконец сломается его пресловутая машинка. Сущности изобретения никто из них толком не знал. На этот счет в училище ходили самые вздорные слухи.

Присутствие посторонних не входило в расчеты друзей. Но избавиться от назойливых доброжелателей было невозможно.

Станок работал нормально. Длинные изломанные стружки пронизывали маслянистый воздух. Вся боль-

ная поверхность болванки становилась серебряной, блестящей, как новенькое перо. Черная шкура смывалась с металла, как сажа с лица Сандрильоны. Каждые несколько оборотов патрона прибавляли новую узенькую, пронзительную полосу, на миллиметр увеличивая заточенное пространство. Блеск наступал на черноту, как разливающаяся река, вползающая на отлогий берег.

В привычной атмосфере мастерской, за обычным и знакомым делом Сергей почувствовал себя лучше и тверже.

Резец Зотова-Величкина вел себя отлично. Ровно и неторопливо он снимал один слой стали за другим. Обычному резцу давно бы уж пришла пора отправляться в заточку, а этот только ронял чешуйки и уточчался.

Проработав два часа, Величкин остановил станок. Измерили толщину резца. Она подходила довольно близко к предварительно вычисленной норме.

— Можно считать дело законченным. — просто сказал Зотов, складывая микрометр в футляр. — Резец работает правильно.

Величкин впервые за сегодняшнее утро увидел, что за окном светит солнце и летают галки, а в мастерской, кроме них и их резца, есть еще люди, станки и верстаки.

В мастерскую вошел Лавр Петрович. Он подошел к станку, вскинул лорнет и внимательно осмотрел резец. — Сколько часов? — отрывисто спросил он. — Стачиваемость? Приближение к предварительному расчету?

Величкин с любопытством следил за лицом профессора. Как всякий не достигший тридцати лет человек.

он почитал себя большим физиономистом. Однако на этом снежном лице он не высмотрел ничего, кроме маски вежливого участия.

Величкин снова передвинул рукоятку, сталь заворчала, и на асфальтовый пол полились новые ручьи стружек и масла.

По институту уже успел пройти слух о происходящем, и едва не весь механический факультет толпился в мастерской. В присутствии Лавра Петровича все стояли молча и тихо, как на первомайской присяге. Профессор внимательно смотрел на станок, а Зотов — на стружковую бороду профессора.

На восемнадцатой минуте звук неожиданно изменился. Послышался какой-то скрип. Стоявшие поодаль студенты не поняли, в чем дело. Профессор стреб бороду в кулак и шагнул вперед. Величкин остановил станок. Острие великолезного резца совершенно затупилось и не брало стали. Величкин вынул резец и с отворачиванием отшвырнул его.

В толпе заулыбались и захихикали. Лавр Петрович оглянулся и строго посмотрел из-под лорнета. Смеющиеся замолчали.

Проба второго резца дала те же результаты. Отлично проработав пятьдесят семь минут, он затупился на пятьдесят восьмой.

То же случилось и с третьим.

Теперь даже лорнет не мог унять смешков. Оскаленные зубы мелькали во всех концах мастерской.

Величкину казалось, что смеющиеся студенты сейчас заулюлюкают и кинутся на него. Он вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Ноги стали как хлопковые; они больше не держали его.

Туман быстро заволакивал углы здания. Он все теснее сдвигал свое кольцо. Сперва желтой пастью он проглотил студентов, потом Иннокентия, профессора и станок. Волны смыкались и шумели над головой Сергея Величкина. Не охваченным остался только узкий секундный круг.

Из влажной темноты донесся чей-то последний голос, и мохнатая простыня тумана с головой окутала Величкина.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В степях, над лесами, над звоном колоколов, над кухонным чадом, над человеческой грустью и замерзшими озерами гудели телеграфные провода, прогибаясь под тяжестью полновесных коротких слов.

Радость началась у песчаных берегов чужого моря где босоногие волны плясали под тенью пальм. Она миновала Владивосток и Пермь, скользнула по рычажкам юзовских аппаратов, распласталась поперек сырых матриц и подожгла столицу с восемью заставами.

Полтора года назад Величкин в такой же колонне шел к английскому посольству. Он почти с презрением рассматривал тогда этих толпящихся на тротуарах зевак. Во всех демонстрациях самым приятным было проходить, залихватски оглядываясь на них — на чужаков. Это было почти так же хорошо, как ехать в первой шеренге первой входящей в город разведки. Оттого, что чужие, враждебные и недоумевающие глаза следили за его движениями, он бывало шел по осенним булыжникам как по расстеленным цветам.

А сегодня Величкин сам стоял на панели за милицейской цепью и колючей, непронимаемой решеткой металлических взглядов.

Пронесли традиционного, пляшущего на шесте Чемберлена. Все было обычное, знакомое, до расстегнутых ворот комсомольцев, до последней нотки оркестра. Величкин проскользнул за цепь и пристроился пятым в ряд. Но на него закричали и засердились сразу со многих сторон. Возмущенные демонстранты и светлые руководители колонн порицали его за то, что он портит строй и нарушает общий порядок.

Величкин не стал спорить; махнув рукой, он вышел из рядов. Ему хотелось плакать и ругаться. Вдруг в двадцати шагах он увидел знакомое большое знамя, расшитое золотом по бархату. Это была его фабрика. Вот длинные усы Данилова Илюша Францель шел мелкими шажками, склонив голову набок.

— Илюша! — крикнул Величкин, но его возглас услышали только несколько ближайших соседей. Шум оркестров заглушил голос. Францель даже не обернулся.

Величкин пошел прочь от этой улицы. Он свернул в переулок и побрел к дому.

Демонстрация вытолкнула его, как пробку! Он был здесь чужой. Кто он такой для них? Шкурник и дезертир! «Он хуже собаки!» — говорит о таких людях Валентин Матусевич. А теперь всякий имеет право сказать это о нем. И говорят. Вот Илюша даже не оглянулся. Они шли мимо с кожаным равнодушием. Их взгляды скользили через его лицо, не задерживаясь.

Величкин возвращался домой путанными литературными переулками, впадающими в каменное русло

Арбата. Чужая, просвечивающая сквозь маленькие окна жизнь звала его. Ему хотелось сесть за стол, взглянуть на свое длинное, горбоносое самоварное отражение, положить себе в тарелку ломоть этого съедобного, теплого, мещанского счастья.

Зотов вернулся несколькими минутами раньше. Он в третий раз перечитывал записку Лавра Петровича.

— А, пришел? — обернулся он к Величкину. — Ты тоже демонстрировал свою мощь?

Величкин молча лег на кровать. Это было его основное положение за последние дни с самого часа неудавшегося испытания. Все эти две недели Зотов зачем-то бегал, суетился, исправлял какие-то чертежи. Величкин же только поворачивался с боку на бок, изредка ел, много спал и читал романы Дюма-отца, которых у соседа Шпольского оказалась целая библиотека.

Его не развлекали лучшие шутки Зотова, доказывавшего, что Исаак Ньютон тоже был беспартийным и притом даже не членом профсоюза.

— Поди, утешь быка на бойне! — угрюмо отвечал он Зотову.

Величкин даже не навещал матери.

Постепенно он почти перестал умываться и сегодня только второй раз за последние две недели вышел на улицу.

Зотов протянул Величкину записку. Профессор извинялся в том, что недостаток времени помешал ему написать или навесить их раньше. Он просил завтра прийти к нему домой, чтобы выслушать приятное сообщение.

Величкин зевнул и, не дочитав до конца, отдал записку Зотову.

— Пустяки! — сказал он. — Старый чудака будет говорить нам душеспасительный вздор о пользе чистой науки. Мертвое дело! Наша партия проиграна! Мы истратили все битки, а фигура стоит в кругу свеженькая, как до первого удара. Я не пойду!

Он отвернулся к стене и раскрыл на триста восемьдесят третьей странице «Виконт де-Бражелон, или десять лет спустя».

Профессор Лебедуха и не подумал читать Зотову лекции о пользе чистой науки. Вместо этого он изложил свое мнение о причинах неудачи испытания. Неудача эта, по его мнению, не доказывала ложности основной идеи.

Он даже сказал Зотову, что с самого начала верил в осуществимость не тупящегося резца и только хотел вообще отвлечь их от мелкой технической работы. Во многом был виноват завод, неправильно и неточно исполнивший заказ. Когда под личным наблюдением профессора гениальными стеклышками Цейса проверили толщину изготовленной стали, обнаружилась ошибка в одну десятитысячную миллиметра. Принимая исполненный заказ, изобретатели не могли этого установить, потому что не располагали достаточно точным инструментом. Одного этого было бы достаточно, чтобы загубить резец. Но существовала и собственная ошибка изобретателей. Углы, под которыми они спаяли пластинки, были вычислены неправильно, со слишком малым приближением. Профессор

сказал, что испытание было не крахом, а победой. Месяц или полтора месяца работы должны привести Зотова и Величкина к окончательному решению задачи.

Рассказывая об этом разговоре с профессором, Зотов не заметил, что Величкин слушает его плохо и совсем не радуется. Величкина пугало даже самое слово «работа». Мысль о том, чтобы сбросить халат и выйти в двадцатый раунд, была ему страшна.

Когда пловец, отмахав несколько длинных бурных верст, плывет последние триста метров, ему этот отрезок кажется бесконечным и непреодолимым. Легкие и сердце работают через силу, как износившиеся поршни, руки уже только по инерции расталкивают бесконечную наседающую воду. На десятиметровой глубине хочется расслабить все мышцы и остановиться, замереть. Но нарастает новая волна, и нужно нырять под нее или взмывать вверх вместе с ее пышно намыленным гребнем, нужно не мигая глядеть в лицо норд-осту и плыть вперед. Недостигаемый желанный берег уходит с каждым рывком.

То же самое происходило с Величкиным. Ему не хотелось работать. Он в шлепающих тяжелых калошах брел по жизни, как по скучной улице, наполненной осенним дождем и серыми лицами сутулых прохожих. От этой улицы, от дождя, от мутных глаз ему хотелось только лечь в постель, уютно укутаться теплым толстым одеялом и горячо дышать в свои колени. Но нужно было работать, и Величкин работал.

Полтора года бешеной гонки, все бурные события этого времени обескровили и измотали его. По утрам он подымал усталое тело, в котором ныли каждый нерв и всякая связка. Шершавые прикосновения оде-

жды мучили его. Морщась и отплевываясь, он надевал носки и ботинки. Даже походка его изменилась. Он теперь ходил неуверенно, как внезапно ослепший, с трудом поднимая ноги, точно всякий раз выдергивал их из капкана. Каждая скамейка на бульваре притягивала его и уговаривала сесть.

На улице и даже в комнате, когда он сидел совершенно один, его часто окликал кто-то. Он быстро оборачивался, но находил только настороженную тишину да знакомые вещи или равнодушный воздух и толпу.

Иногда, улегшись в постель. Величкин начинал мучительно вспоминать, заперта ли дверь. Он думал о двери по многу минут, отчетливо вспоминал, как два раза щелкнула пружина в замке, и снова сомневался. Коячилось тем, что он вставал с постели и, робко ступая босыми ногами на хождоные половицы, бежал к порогу. Дверь оказывалась запертой.

Среди ночи, когда на окнах еще висели черные занавески, Величкин вскакивал в одном белье, чтобы закончить недоделанные вычисления. Он зажигал электричество, сменял перо, развертывал тетрадь и убеждался, что работа еще вчера доведена до конца и проверена.

Прежний крепкий сон без сновидений исчез бесследно. Каждую ночь на Величкина наваливались и сжимали его горло тяжелые, близкие к кошмарам сны. Один из них повторялся особенно регулярно. Они шли с Даниловым по необычайно пустой улице. Пустота эта была жуткой. За каждым поворотом ждал согнувшийся для прыжка ужас. Вдруг Данилов начинал расти. Это случалось всегда на одном и том же месте — около решетчатого забора. Данилов быстро переростал самые

высокие дома и нависал над Величкиным как туча или как гигантское чудовище, поднявшееся на дыбы. Величкин пробовал бежать, но Данилов настигал его длинной рукой или гибким присасывающимся хоботом. Величкин летел. Он не падал, как это часто бывает во сне. — нет, он именно летел вверх с тошнотворной быстротой. От этой быстроты он начинал задыхаться. Воздух, свистя, пролетал мимо, и Величкин не успевал захватить его тепкие. Удушье будило его.

Друзья вставали ровно в семь часов. Зотов поднимаясь первый и, если был керосин, кипятил чай. Из примуса вздымались желтое пламя и копоть. Пламя росло и разбрасывалось, как пальмовый лист. Потом копоть и желтизна исчезали. Шестнадцать маленьких, круто изогнутых дужек синего огня связывали концы в узел под черным дном закоптелого чайника. Они переплетались и сжимались, как заломленные пальцы.

Обжигая губы жестяными кружками, Зотов и Величкин пили кипяток, иногда даже с сахаром. С утра до шести часов вечера они оставались в лабораториях и мастерских института, проделывая бесконечные химические опыты, пробуя все новые сплавы, меняя и примеряя все новые углы и толщину. Вернувшись домой, они подытоживали и записывали работу сегодняшнего дня и точно размечали дела на завтра. Все эти разметки, напоминания в роде «обязательно выяснить с Д. М. относительно сост. спл. № 3», все химические формулы и реакции они записывали на маленькие блокнотные листки и развешивали по стенам, чтобы иметь их всегда перед глазами. От этого, когда открывали или закры-

вали дверь, все листки разом взмахивали крыльями и шумшали. Шелестящая комната казалась оперенной.

Вечером они разогревали сваренную на несколько дней похлебку и с'едали по тарелке, стараясь с каждым глотком жидкого поедать как можно больше хлеба. «Нужно наесться не варевом, а хлебом. Суп только для вкуса. Это экономно и сытно», — говорил Иннокентий.

Величкин даже и сл с трудом. В течение всего длинного, часто восемнадцатичасового дня его терзала слабость. Мускулы его сокращались с трудом и вяло.

Но самым тяжелым была не эта, скорее физическая усталость, а то отупение, которое овладело Величкиным и затемнило его сознание. Он не потому продолжал работать, что инстинкт борьбы брал его за плечо и приказывал драться, хотя бы через силу, и не потому, что впереди отдаленная и отделенная всего месяцем блестяла серебряная долина. Он работал просто в силу инерции, той самой, которая заставляет подстреленного на бегу зайца сделать еще два судорожных прыжка.

Зотов сознательно напрягался, чтобы скорей кончить. Величкин просто работал, как наемник на чужом огороде. Все ему было безразлично и чуждо. Он даже и не огорчался ничем, тщательно занавесив тот угол, где хранились все мысли о партии, о матери, о Гате. Все дробы свелись для него к одному знаменателю, и, может быть, он с одинаковым бесформенным и обмякшим спокойствием опустился бы в приветливое продавленное кресло парикмахера или на электрический стул бостонской тюрьмы.

Самое изобретение, которому он так легко и так просто пожертвовал многим и лучшим, стало казаться

ему мизерным и незначащим и успех ненужным. Успех! Раньше это слово горело и искрилось, как ювелирная витрина; сейчас оно было будничным и надоевшим, как вчерашний чай, как запах лука и нестиранных пеленок в коридоре.

Неумелое солнце зимнего утра перелистывало балконы и подоконники.

Величкин один пошел в химическую лабораторию. Зотов должен был остаться дома, чтобы еще раз переделать расчеты последней недели и вывести окончательный и последний угол резания.

Ночь еще цеплялась за заборы и решетки. Жесткий ветер выбежал из персулка. Он поднял и погнал перед собою крутящуюся поземку. Проехал дремлющий на козлах заплатанный извозчик. Ленивый, позевывающий трамвай хмуро остановился против больших часов, в которых кто-то забыл потушить электричество. Холщевые бесконечные будни растянулись до самого края земли.

Величкин, сутулясь прошел до Спиридоновки. Ити нужно было еще очень далеко. Он посмотрел на вывеску и, не понимая, в чем дело, прочел большие черные буквы: «Яков Рацер».

Величкин, не обдумывая и не размышляя, повернул обратно.

— Я-ков Ра-цер. Цер-я-ков. — мычал он в такт шагам.

Зотов работал. Запустив левую руку в волосы, он быстро писал и перечеркивал.

— Зачем ты вернулся? — спросил он Величкина. — Ты что-нибудь позабыл?

— Нет. Просто так. Мне надоело.

— Что надело?

— Все. Яков Рацер надоел. Ты надоел.

Величкин лег на кровать и положил ноги на некрашеную перекладину.

— Позволь, — сказал Зотов — В чем дело? Надо же выяснить.

Величкин молчал.

— Сережа, — сказал Зотов как мог ласково, — я понимаю все. Я знаю, как тебе тяжело. Ты думаешь, я ничего не замечаю. Но я же жалею..

— Брось! — кричал Величкин голосом неожиданным даже для себя. — Оставь меня в покое! Мне твоя жалость противна!

Испуганный и удивленный этой вспышкой, Зотов всгас.

— Да, да! — кричал Величкин, приподнимаясь на локте. Царапающие слова уже не подчинялись ему, и он с удивлением прислушивался к своей истощенной и не мотивированной злобы — Ты меня душишь своей хорошестью, — кричал он Зотову. — Ну, да конечно я плох, я слаб, я нытик, но я не хуже тебя. И нечего класть мне руку на плечо и жалеть меня. Оставь меня в покое.

— Да я и не собираюсь тебя беспокоить. — сказал Зотов. — Буду работать один пока ты не одумасься. Только и всего.

Зотов сел за стол и пригнулся к бумаге. Величкин с отвращением посмотрел на его тугую мощную спину, на каменные плечи. Он подскочил к столу и испугленно стал рвать тетради с химическими формулами, над которыми Зотов работал шестнадцать дней. Сделав это, он сразу обессилел и свалился на кровать. Руки его

обмякли. Зотов стоял перед ним и трясся от холодной злости.

Инокентий засопел и молча вытащил из портфеля Величкина детскую фотографию Гали Матусевич. Галя стояла на ней круглоголовой девятилетней в белом платье и передничке. Зотов смял фотографию, бросил ее на пол и затоптал каблуком. Он осмотрелся, искал, что бы еще сделать, но не надумал.

— Дурак, — сказал он и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

Четыре дня Зотов и Величкин не разговаривали. На пятый Зотов необычайным басом сказал:

— Серега, мне ведь одному не управиться. Будешь работать, что ли?

— Ладно. — ответил Величкин угрюмо. — Буду. Все равно уж.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Успех все-таки пришел. Как всегда, когда задолго планируешь слова и поступки, все оказалось не таким, каким ждалось. Зотов совершенно спокойно слушал завистливые поздравления, как-будто улыбались не ему. Только когда, спрятав подписанный шестью крупнейшими специалистами акт, Зотов вышел на улицу, ему блеснули два великолепных простых слова:

— Работа сделана, Сережа, — сказал он.

И после этих слов из глубины заново умытой улицы потянуло холодным сладким ветром.

— Разумеется, сделана. — равнодушно согласился Величкин.

Но Зотов уже не слышал. Последние два дня, когда происходило испытание, когда заседала комиссия, когда ему жали руку, его уши и мозг только механически записывали происходящее. И только сейчас валики фонографа заговорили. Все происшествия и разговоры этих дней хлынули разом. «Работа сделана!» — это были отличные слова. «Работа сделана!» — мальчишеским голосом звенели трамваи. «Работа сделана» — хрипло и солидно вторили автобусы. Зотову хотелось подойти к постовому милиционеру, хлопнуть его по мохнатому плечу и сказать: «Работа сделана, братишка!..»

Вдрызг пьяный ветер загромыхал урной для окурков и толкнул Зотова холодным плечом. Но Зотову было так тепло, что он даже расстегнул ворот навстречу ледяной пыли.

— Здорово, Сережка! — сказал он.

Величкин молчал. Ему было скучно и хотелось спать. Его радовала только возможность встать завтра хоть в двенадцать. Как бы угадывая его мысли, Зотов сказал:

— Сережка, ты очень утомился. Я ведь вижу. Хочешь, всю работу по проведению через разные инстанции я сделаю один? Тебе не нужно будет ни о чем беспокоиться. А то ведь канитель еще на добрых два месяца.

— Ладно, — сказал Величкин, — я тебе очень за это благодарен, старик, — и он, не зная, как бы выказать свою признательность так, чтобы это не показалось сантиментальным и неискренним, ласково, почти женским движением погладил рукав Иннокентия.

Как-никак он был славный парень, этот Кешка Зотов! Поверху грубоват, но на самом деле готов расшибиться в лепешку ради товарища.

Величкин пробормотал как бы про себя, но так, чтобы слышал Зотов:

— Все-таки хорошая штука настоящая мужская дружба!

Дни покатались ровные и румяные, точно хрусткие наливные яблоки. Величкину было свежо и радостно, как в ненадванном белье. Он отдыхал, благодушеествовал и входил в тело. Дел не было никаких, только два раза пришлось подписать какие-то большие и торжественные доверенности Зотову. Зотов тормозился и бегал по каким-то учреждениям, на сто имя приходил толстые пакеты, уходил он рано, а приходил поздно. Величкин ни о чем его не спрашивал. Он знал, что Зотов все сделает, как надо. Откуда-то был получен небольшой аванс, и они его медленно и степенно проедали.

Величкин жил теперь мелкими мыслями и смутными оттенками чувств. Он по многу часов просиживал у окна, не читая, не думая, глядя, как шагают по Прямому переулку редкие прохожие, как набегают облака на бесцветное свежее выстиранное небо. Вместе с этими облаками набегали и неясные, не отливающиеся в слова раздумья. Иногда с окраины доносился протяжный и грустный, как песня за рекой, паровозный свисток, и тогда Величкина охватывала бесформенная тоска по невиданным городам, смутная тяга за грань горизонта... Но по большей части им владела спокойная и ровная умиротворенность, радостное и тихое бездумье.

О Гале он вспоминал редко. Вернее, вспоминал он часто, но как только приходили эти сладкие, беспокой-

ные мысли. он тотчас старался отгородиться от них заснуть или перейти на другую тропинку. Он даже думал иногда, что вовсе и не любил ее, что уж во всяком случае не любит и не хочет знать теперь.

Друзей у него не стало. Все, кто когда-то хлопал его по плечу и угощал пивом, стали чужими. Их липовая дружба не выдержала серьезной проверки, а гугаперчевые улыбки и дежурная сердечность были ему ни к чему. Если он и появится когда-нибудь среди них, то только уже в полном блеске своего успеха. Пусть понимают, гады! Так он и жил у спокойного немытого окна в дружелюбный, уютный мир.

Однажды в Прямом переулке появился Валсгин Матусевич.

После Величкин говорил, что, вероятно, товарищ Южный пришел побеседовать об изобретении. Чем это была не тема для очередной сенсации?

Однако разговор принял совсем другое течение.

Матусевич оглядел комнату, стол, оперенные стены, выщербленный пол, и так вдруг ему стало тошно в пропахшей капустой и гугалином квартире, с «Кирпичиками» за стеной, с засиженной электрической лампочкой, что вместо разговора об изобретении он, сев на пыльный стол, спросил:

— Неужели тебе не скучно, Сережа?

Но этот вопрос так близко дотронулся до собственных его сокровенных, долго копленных мыслей, что он неожиданно сам же и ответил:

— А мне, Сережа, очень бывает скучно. Скука жизни! Будь я не жалким газетчиком, а большим

писателем—ну, Толстым, что ли,—какой бы я романчик об этом нагрохал! Роман о скуке... о стране скуки!..

— Почему скука? — с недоумением спросил Величкин. При теперешнем его настроении ему чужды были мысли Валентина. — Ты голстый, работа у тебя интересная..

— Брось! — перебил его Южный. — Какая работа? Это раньше была работа. А сейчас должность! Понимаешь — должность. служба! Я служу! Раньше мы даже паршивого чиновника звали — товарищ Иванов, а сейчас своего редактора, старого партийца, я называю Фауст Львович.

— Ну что же, — сказал Величкин, — это мелочь. А жизнь. она, брат, очень теплая и вкусная. Для нас. в нашей стране. Разве у тебя не валится шапка, когда закидываешь голову и глядишь вверх?

— Ты повторяешь мои же передовицы. Шапка шапкой, а все-таки скука смертная. Россия — государство уездное, и ты бы вот почитал, что пишут из этих разных Касимовых и Можайсков. Что это за люди там живут? Чем они живут? Строят дома, печи, хлеб пекут. Ну, там, огород. Но зачем, почему? В чем их жизнь? И ведь это половина республики.

Первый раз Величкин видел Матусевича таким. Журналист говорил серьезно и спокойно, не каламбуя и не коверкая слов. Нет, к тому, что он сейчас говорил, он относился совсем не иронически. Он даже не заметил, как вошел и поздоровался с ним Зотов.

— Но ведь и там, в уездных городишках, электрические станции и комсомолки, — сказал Величкин.

— Станции? Комсомолки? Я тебе сейчас расскажу пару фактов. В одном городе бродил по улице козел,

обыкновенный, нормальный, воиничный козел. Он сидит со стен какие-то плакаты и афиши. Комсомольца, раба клейщика афиш, так рассердила эта вредная деятельность козла, что он убил скотину. И вот, представляешь себе, его исключили из комсомола да еще и под суд отдали. За убийство чужого козла! Могло что-нибудь в таком роде произойти в девятнадцатом году? Кто тогда считался с козлами?

Зотов улыбнулся и сказал:

— Что касается Сергея, он и в девятнадцатом году готов был гнать до самого моря корову и боялся ее убить. Если бы я не догадался прикончить эту буренку и отдать ее ближайшей части, он бы, может, и сейчас шел за ней.

— Дальше. — продолжал Матусевич, не слушая и все больше увлекаясь собственными словами, — в другом городе два советских работника поспорили, кто больше съест пирожных. Один съел восемнадцать, другой — две дюжины. Представляешь себе уездные пирожные? Они стоят там по пятаку. Скушать их двадцать четыре штуки это все равно, что проглотить ватный пиджак. Парень умер от заворота кишек. А был это человек, который через тысячи верст тайги и больших рек доставлял партизанским отрядам патроны и письма, награжден орденом Красного знамени, три раза был под расстрелом и удирал в последнюю минуту, раз — в одном белье, сибирской зимой. И вот до чего его довела скука!

— Что ж из того? — спросил Величкин. — Тебе подавай непременно драку, кровь, романтику, чтобы рубили головы на гильотинах. Волховстрой, ты говоришь, тебе надоел. А по-моему, у тебя просто испорчен желудок. Тебе уж не нравятся грубые и здоровые ку-

шанья. Подавай тебе непременно каких-нибудь тухлых рябчиков...

— Я просто хочу жить настоящей жизнью. Где она? Годы налетают на нас, как скорые поезда. Ведь тебе случалось стоять на маленькой дачной платформе, когда мимо в чаду и грохоте пронесется курьерский? Сегодня мне пошел двадцать шестой. А тебе разве никогда не хочется вцепиться в рукоятку тормоза? Я не говорю: счастье, — нет. Один большой человек сказал, что ощущение счастья длится ровно столько времени, сколько нужно, чтобы завести часы. Но я хочу, по крайней мере, настоящей жизни, чтобы каждый нерв и мускул был занят, чтобы мне никогда и незачем было думать об этих подлых житейских мелочах. А где она, жизнь? Мы не живем — мы существуем.

— Живем, — сказал Величкин — Мы едим, пьем, работаем, любим, ждем завтрашнего вечера. Это и есть жизнь! Никакой о с о б е н н о й жизни нет! Ты тасуешь прошлое по собственному произволу. И в девятнадцатом году люди кушали несоленый суп и бранили кашеваров за то, что суп несолои, ловил вшей у костров, стирали белье, ругались с завхозом, болели триппером. Разница между существованием и жизнью не в том, носишь ты наган на животе или не носишь, а в тебе самом. Вот они, — Величкин ткнул рукой в стену, из-за которой все еще слышались «Кирпичики», — они существуют. А мы живем.

— Э-эх! — старательно зевнул Зотов. — И надоели же мне эти вечные разглагольствования! Дело, жизнь, практика — вот это я понимаю. А умствования...

— Но ведь надо осмыслить, ради чего и дело, и жизнь, и практика, — сказал Матусевич.

А вы еще осмысливаете? Я так вот давным-давно осмыслил.

— И что же?

— А то же, что работать надо. И вы бы лучше посторонились от стола, Матусевич.

— По его мнению, — сказал Величкин Матусевичу, — из всех теоретических и философских книг можно запалить веселый костер, а самих авторов сдать в солдаты.

— И очень бы хорошо, — заявил Зотов, — сразу сделалось бы легче и веселей на свете. Неужели вы думаете, что все эти книжные выдумки имеют какое-нибудь значение для настоящего человека? Все равно людей толкают вперед только две силы: или честолюбие, или жадность к деньгам и власти.

— И вас тоже?

— И меня тоже, и вас, и даже Сережку. Впрочем, его-то, может, и нет.

Ты это серьезно, Иннокентий? Никогда не угадаешь, шутишь ты или нет.

— Разумеется, я шучу, — тем же неопределенным тоном ответил Зотов — Слезьте все-таки со стола Матусевич.

Слова Матусевича шли вразрез со всем гепершим состоянием Величкина. После этого разговора он еще больше ушел в себя. Он бродил по бульварам, прислушиваясь к своим новым мыслям и изредка улыбаясь им.

Он подобрал где-то голодного, блохастого щенка и поселил его в углу на старом френче, помогал сы-

новьям бухгалтера Шпольского решать задачи из алгебры.

Весна пересекла дорогу зиме, солнце накаляло окна, но полозья еще весело кромсали пеклеванный снег. Уже тянулись с юга теплые ветры и шайки беспризорников, но еще не стаял снег даже на коньках крыш, в сумрачных дворах ребятишки еще строили снежные крепости.

В один из вечеров, укутанный теплым плащом, предвесеннего тумана. Зотов пришел домой позже обычного. Он тихонько приотворил дверь, стараясь не разбудить Величкина, и зажег свет. Величкин спал.

Его губы были полураскрыты и слегка цевелились. Лоб и виски покрылись блестящей испариной и казались намасленными. Зотов тихо, стараясь не шуметь, присел к столу, написал короткую записку и приколот ее так, чтобы утром она сразу бросилась Величкину в глаза. Затем он положил рядом с запиской какой-то пакет, постоял несколько секунд над изголовьем друга, провел рукой по волосам, выключил свет и вышел.

Зотов шел по шумной вечерней Тверской. Толпа, шурша, катилась книзу. Он был в новом костюме, в своем первом хорошем костюме в широком пальто и мягкой шляпе.

Зотов вспомнил, как несколько лет назад по этой же улице шел другой Иннокентий Зотов. Этот юноша был одет тогда в скрипучие брезентовые штаны, и женщины оглядывались на него с усмешкой, как на забавный осколок минувшей эпохи.

В один из первых студенческих годов ему случилась забавная работа. С зеленой квитанционной книж-

кой он должен был собирать по ресторанам и театрам пожертвования не то на дома призрения для престарелых цыганок, не то на союз слепых музыкантов. Первый же ресторан ослепил его. Там скользили люди в черных фраках и непорочной белизны рубашках. Они были похожи на черных бесшумных жуков. За крайним столиком, манерно оттопырив мизинца, пила кофе бледная и прекрасная девушка. Золотистая челка падала на ее синие глаза. Узкогрудый юнец с золотыми зубами, тот самый, который отщелкивал лакею червонцы из перехваченной красной резинкой пачки поманил ее.

Зотов все это видел. Видел он и как девушка пошла к юнцу, покачиваясь на ходу как лодка. Короткая юбка приоткрыла ее круглые, хорошо обточенные колени.

Зотов тогда выбежал из ресторана, потому что собранные на цыган деньги беспокойно воротились в его кармане.

Он не завидовал этим людям: им пришла хорошая карта, но когда-нибудь и ему привалят четыре туза.

Он ждал этой настоящей карты четыре года. Он знал, что тузы придут. И они пришли!

Зотов продвигался через толпу, как лобастый монумент в фетровой шляпе.

На Страстной площади он взглянул на часы и подзвонил наемный автомобиль.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Проснувшись, Величкин нашел на столе записку и пакег с червонцами. Такого количества этих белых, туго накрахмаленных бумажек Величкин не держал еще

ни разу. Их было двести штук. Зотов писал, что получил часть денег за изобретение и что для разрешения некоторых очень существенных вопросов он выехал на несколько дней в Ленинград и вернется не позднее воскресенья. Что это были за существенные вопросы, Зотов не сообщал.

Ни деньги, ни отъезд Зотова не переменили жизнь Величкина. Он только купил Елене Федоровне несколько плиток шоколада, зная, что она очень любит сладкое. И поиски комнаты, и даже подачу заявления в контрольную комиссию он попрежнему откладывал. «Я не буду затевать никаких больших дел до приезда Зотова, — говорил он. — Тогда все окончательно выяснится».

Но хотя по внешности Величкин не проявлял никаких признаков удивления или нетерпения, отъезд Зотова озадачил его. Он не понимал, какие это существенные вопросы могли понадобиться Иннокентию в Ленинграде. Наконец, если все было закончено и получены деньги, то оставалось только взять соответствующую справку, и дело Величкина с контрольной комиссией было бы в основном улажено. Зотов отлично знал все это. Почему же в таком случае он уехал, даже не поговорив?

Однако выяснить все можно было, только дождавшись Зотова. И Величкин ждал. Неделя гаяла медленно. За понедельником, лениво переваливаясь, проковылял вторник. Среда висела над Величкиным так долго, словно и вовсе не намеревалась уходить.

Воскресенье было крайним днем, назначенным Зотовым для своего приезда. С утра Величкина дергало и распирало нетерпение. Он выходил в коридор слова

возвращался, грыз спички и сглодал мало не целую газету.

Чтобы чем-нибудь заполнить пустое, медленно пересыпающееся время, Величкин, надев свитер и длинноухую шапку, уехал в Сокольники.

На лыжной станции разговаривали громко и румяно, как никогда не разговаривают в городе. Юноши и девушки ходили из конца в конец широкого двора, переговаривались через головы незнакомых, хлопали себя по бедрам, топали ногами и делали множество ненужных, но радостных и задорных движений. Все они невольно раздвигали и выпрямляли плечи. Походка их менялась. Это не была уже торопливая рысца горожанина, по дороге на службу перебегающего крикливый автомобильный перекресток. Они ходили мерным пружинным шагом, почти походкой пионеров Клондайка и Алдана.

Просторные бревенчатые комнаты буфета и теплушки тоже были оборудованы по великолепнейшему Джеку. Здесь ходили широкоплечие люди в мягкой индейской обуви, здесь звонко улыбались черноглазые девушки. На промерзшем полу валялись льдинки, сбившиеся с мокассин и пьекс; они были перемешаны с пожелтевшей, осыпавшейся хвоей. Нехватало только стойки с разноцветными бутылками да оркестра, играющего тустеп.

Во дворе из темного пещерного сарая выдавали лыжи. Два человека, старый и молодой, копошились там во мраке.

Величкин выбрал финские беговые, узкие и острые; их концы были подняты кверху изгибом грациозным и точным, как нотный ключ,

Лучшие лыжи, конечно, не те, которые делаются на фабриках. Как и гениальные скрипки, они выходят только из мастерских немногих совершенных мастеров. Точнейшая копия с работы такого мастера всегда будет чем-то — одной сотой, но решающей сотой миллиметра, одним неуловимым изгибом — отличаться от подлинника. Все масштабы и углы, кривые и пропорции будут воспроизведены добросовестно и точно. И все-таки копия так же мало сможет заменить подлинник, как гипсовая маска — живое лицо.

Величкин за всю зиму первый раз стал на лыжи. И, как всегда после длинного промежутка, дело сначала не ладилось. Лыжи казались слишком легкими, просторные ремни ерзали по под'ему и часто вовсе соскакивали с ноги. Тогда лыжа уезжала от него далеко вперед. Слишком жесткие пьексы терли пальцы. На ска-тах лыжи с'езжали вбок, а на буграх пятились назад.

Однако вскоре Величкин вошел в тот особенный ритм, когда дыхание, движения ног, рук и всего тела сочетаются гармонично и четко. И сразу оказалось, что и лыжи не легки, а очень хороши, и что ни в чем не виноваты ни ремни, ни обувь.

Величкин легко шел двойным финским ходом. Он делал три коротких легких шага и потом, с силой присев, почти падая назад, распрямлялся, отталкивался не только ногами, но всеми мышцами сразу и прыгал вперед на несколько метров. Шум дыхания, легкий скрип ладно постукивающих лыж и шелест снега включились в один мотив.

Величкин намечал себе задания: перегнать то одного, то другого из шедших впереди лыжников и лыжниц. Он выбирал самых быстроходных и, проламывая гру-

дью ветер, сильными прыжками настигал и обгонял их одного за другим. Ему стало жарко. Соленый горячий пот заливал глаза и щипал их, как мыльная пена. Величкин сперва снял шапку и привязал ее к поясу, потом скинул свитер и остался в одной безрукавной майке.

Он остановился на вершине крутого холма. По скату рассыпались несколько десятков лыжников и лыжниц. На половине холма тропинка огибала толстую сосну. Одни с'езжали ловко, легко балансируя на рывтинах и взмахивая руками на повороте, другие пугались дерева, налетающего на них со скоростью экспресса, сворачивали в сторону, в рыхлые сугробы, и, не удержавшись на ногах, валялись в мягкий снег. Случалось, что лыжи одиноко и грустно скользили с горы, а хозяин, размахивая палками и припрыгивая, гнался за ними.

Величкин собрал в одну руку обе остроконечные палки. При спуске они не были нужны.

Брызги колючего снега и ветра ударили ему в лицо. Опустив голову и подогнув колени, он даже не мчался, а падал быстрее ртути в Реомюре. Раздробленный воздух снова смыкался за ним, и казалось — за плечами должна оставаться белая дорожка, как за яхтой, перерезающей залив. На ухабах он опускался и взлетал. Сердце проваливалось куда-то в колени и бешено выпрыгивало оттуда, подступая к горлу. Было похоже на гигантский взмах необычайных качелей.

На повороте Величкин не только не затормозил, но, слегка наклонившись и нажав носками, еще ускорил ход. Ветер вдавливал дыхание обратно в легкие. Счет времени перешел на десятые доли секунды. Величкину казалось, что за спиной у него плещутся два мощных крыла.

Пронесясь мимо дерева, Величкин заметил в стороне от тропинки знакомое женское лицо. Оно просверкало, как выхваченное молнией, и сознание не сразу успело отметить имя. Только миновав поворот, Величкин сообразил, что это Галя. И тотчас, будто подчиняясь невидимой зычной команде, он припал на правое колено и повернул так круто, что даже проскользил несколько шагов назад и влево. Облако взрытой снежной пыли вскипело и вырвалось из-под лыж.

— Осторожней, чорт тебя!.. — рявкнул мужчина в очках и красном свитере, грузно пролетая мимо и почти натыкаясь на Величкина. Последние слова ругательства долетели уже издали, снизу.

Галя, держа в руках обледенелые лыжи, спускалась с горы. Ее голова и шерстяные плечи были круто посолены снегом. Две полосы румянца, как два мазка заката, пылали на ее щеках. Она была в мужском лыжном костюме. Обычно такой наряд делает женщину неуклюжей и слегка смешной. Но Галя была по-мальчишески тонка, и костюм еще больше подчеркивал геральдическую стройность ее хорошо вырезанной фигурки.

— Здравствуй. — сказал Величкин, улыбаясь всем лицом.

Галя первый раз стала на лыжи этой зимой и едва миновала тот период скучного и неприятного ученичества, который бывает в каждом спорте и профессии. Это те недели, когда мальчишка, поступив в подручные к слесарю, ежедневно калечит пальцы молотком, когда футболист инстинктивно отскакивает в сторону, испугавшись летящего на него мяча. Еще совсем недавно лыжи везли галины ноги, куда им хотелось, вырывались,

вставали на дыбы и вообще вели себя, как норовистые лошади. Поэтому она не могла не оценить ловкости с которой Величкин повернул на крутом спуске или того, что даже в гору он быстро и легко шел без палок.

Величкин чувствовал это и нарочно выделял грюки: то вдруг на обрывистом спуске припадал на колени, то выбирал холмик повыше и, разогнавшись, прыгал с него, как с трамплина.

Величкин пробовал порицать себя за то, что повернул навстречу Гале. Ведь он решил с ней не видеться, пережил уже кризис и последние недели чувствовал себя выздоровевшим от любви. Разлука взяла свое. Он и не думал о ней. Разве что иногда...

Но ему было так хорошо, что не хотелось ссориться даже с самим собой.

«Мы можем с ней быть просто друзьями, — утешил он себя наконец. — Разве это так плохо? А большего я и сам не хочу!..»

Они шли теперь по лесной дороге. Здесь было тихо, и ветер не упирался ладонями в грудь. Впереди дорога раскрывалась в поле, пересеченное железнодорожной насыпью, по которой тянулся длинный товарный поезд. Вагоны перемежались с открытыми платформами, груженными углем. В просветах сцеплений мелькали обрубки деревьев, ключья проводов и телеграфные столбы.

Величкин видел, что Галя собирается заговорить, и, чтобы избежать этого, то уходил вперед, то возвращался и опять уходил. Она терпеливо и добросовестно шла за ним.

На выходе из лесного туннеля у нее лопнул левый ремень. Пришлось остановиться, вытащить из кармана

моток бечевки и исправить поломку. Галя стояла, при-слонившись спиной к осине, и шапкой стряхивала снег с колен.

Величкин делал вид, что чрезвычайно занят и увлечен своей работой.

Он сосредоточенно сопел и не поднимал головы, злясь и на себя, и на ремень, и бог знает еще на что.

Случилось именно то, чего он не хотел и боялся. Разглядывая свою вязаную перчатку с продырявленным указательным пальцем. Галя спросила:

— Что у тебя за история с партией, Сережа?

— Кто тебе сказал? — немедленно ответил он вопросом на вопрос.

Галя видела, что его уши покраснели и что он совершенно бесцельно открыл и снова закрыл складной нож.

— Какая разница? — возразила она, надевая шапку. — Не все ли равно, кто сказал?

Величкин промолчал.

— Я знаю, ты меня считаешь душой и думаешь, я ничего не понимаю, — перешла в наступление Галя, — но самолюбие для меня — пустяки. Сережа, я тебя слишком уважаю... ну, ты мне все-таки слишком дорог, чтобы я не спросила тебя. Можешь, конечно, не говорить. Дело твое!..

Величкин взглянул на нее с изумлением.

— Дорог? — пробормотал он. — А Зотов? — Не дожидаясь ответа, он быстро сказал: — Поедем, Галька, домой. Уже, видишь, темнеет, — и сразу отбежал вперед на добрых двадцать шагов.

Галя вдела ногу в связанный ремень и пошла за Величкиным.

Действительно, воздух посерел, как-будто в нем растаяло и растворилось серое небо. Далеко впереди замелькал какой-то зеленый огонек, и на насыпи жалобно загудел рожок стрелочника.

Обратно они шли быстро и молча. Величкин пропустил Галю вперед. Она наклонила голову, и капельки растаявшего снега блестели на ее волосах, как жемчужная сетка.

«Дорог! — в двадцатый раз мысленно повторял Величкин. — Она сказала, что я ей дорог!»

И забыв о том, что только час назад не желал «ничего, кроме дружбы», он ворочал и рассматривал со всех сторон это маленькое и легкое слово. Он ощупывал в нем каждую интонацию и букву, как тонкие зубчики часового механизма.

Галя не оборачивалась. Черный завиток упал на ее шею.

Величкину представилось, что он наклонился и целует два, десять раз этот прохладный завиток и горячую кожу. Он почувствовал влагу и жар на губах.

Где-то в соснах противным голосом крикнула ворона. Величкин вздрогнул и увидел деревья вокруг и дорогу под ногами...

Вечер положил черную голову на гипсовый снег. Подморозило, и трамвай трещал и скрипел, как бы вспоминая свое лесное происхождение. Видения фонарей и расплывчатые силуэты строений пролетали мимо замерзшего окна.

Галя сидела рядом, утомленная и желанная, как никогда. Величкин окончательно понял, что все разговоры и мысли о том, что вот, мол, наконец покончено с глупой любовью — пустая болтовня. Они были похожи на

правду. когда она жила где-то за горизонтом, отгороженная шумом улиц и собственной жизнью, но не сейчас, когда она сидела рядом. уронив руки на сдвинутые колени.

Он нарочно, сам не веря, говорил злые и циничные слова: «Стоит с ней вожжаться после Иннокентия!.. До-нашивать шубу с барского плеча!»

И, говоря так, он одновременно прятал руку в карман. чтобы невольно не дотронуться до галиной руки.

Величкин нашел под половиком ключ и вошел в комнату. Он повесил галину куртку и свое пальто и, став юзле табуретки на колени, зажег примус.

Галя села на кровать и протянула озябшие ноги к трубам парового отопления.

Примус загудел, заглушая шум крови. Величкин тоже сел на диван.

— Вон в том доме, налево, все окна освещены, — сказала Галя. — Как ты думаешь, что там делается?

— Тот человек, видишь, он ходит широкими шагами по комнате и часто вытаскивает часы. Сегодня она должна притти к нему первый раз.

— Да! А она в это время гуляет по Арбату с бравым военкомом кавалерийского полка.

— Она вбежит, оживленная и раскрасневшаяся, и скажет: «Прости, дорогой. я сидела у постели больной подруги...»

— А тот старик?

— Утром он послал в мелочную лавку за чернилами и бумагой, а потом сел, расчистил местечко на столе и написал роман, который переведут на все языки мира...

— А вот видишь: муж сидит и пьет, а жена шьет чепчики новорожденному. .

— Ничего подобного! Она дошивает платье для завтрашней вечеринки, а муж подсчитывает расходы прежнего месяца. Сейчас он начнет топтать и кричать на нее зачем она истратила три рубля на краску для волос..

— А она вцепится ему в кудри?

— Нет, потому что он лысый.

Так они болтали, выдумывая люди и заставляя их влюбляться, писать книги, ссориться и ревновать.

— Странно, — сказал Величкин, — что у каждого своя жизнь. Вот ты идешь по улице, мимо тебя проходят десятки людей, все они куда-то спешат, у каждого своя семья, свои дела, свои планы на завтрашний день. Каждый из них, начиная жизнь, думал кончить ее как Байрон или как Наполеон..

— А кончает как помощник делопроизводителя.

— Да и то боится сокращения. Но я хотел сказать не об этом. А чудовищна эта масса интересов, мыслей, чувств. И каждый ручей течет по своему собственному руслу. Они протекают рядом, но ни одна капля в них не смешивается.

— Я сама об этом думала,—сказала Галя.—А знаешь, когда сидишь так, кажется, что ни одного дня не прошло с N—ска. Сейчас войдет Елена Федоровна и позовет пить чай в столовую.

— Да ведь мы так просиживали целые вечера. Помнишь, как назывался у нас такой вот неторопливый вечерний разговор обо всем понемногу?

— Конечно: диванничание! Потому что мы сидели, забравшись с ногами на ваш большой диван. Какой он был уютный! Гораздо лучше этой койки!

— А помнишь, как я выдумал теорию, что жрать можно все с'едобное и нес'едобное, и мы ради науки лопали даже конский навоз?

— Фу, какая гадость! Лучше бы не говорил! А как мы стащили груши из буфета, помнишь? Мы подставили скамеечку и...

— Конечно, помню, — уверенно сказал Величкин, хотя на самом деле кража груш из буфета никак ему не припоминалась. Но ему хотелось говорить самому.

Бывают такие приступы необъяснимой откровенности, жажда рассказать все, обнажить самое сокровенное. Тогда человек готов вывернуться наизнанку перед случайным железнодорожным попутчиком или вздорной бабенкой. Попробуйте помешать говорить во время такого приступа, и он делается вашим злейшим врагом. И, наоборот, достаточно вам внимательно выслушать его излияния, чтобы он зачислил вас по ведомости первейших друзей.

Величкин перебирал воспоминания, как пачку пожелтевших мандатов. Он рассказывал Гале о юноше в бесконечной, как меридиан, военной шинели, о рабочем фабрики имени Октября — Величкине, описывал своих друзей, которые как верстовые столбы отмечали километры пройденной дороги, и наконец незаметно для себя перешел к изобретению. Он рассказал все, начиная с листа магнолии.

Величкин вскакивал с кровати, размахивая в увлечении руками, изображал в лицах и профессоров, и Данилова, и даже самый резец. Он вытряхнул из третьего тома Плеханова привезенный из Сочи лист. Но листок этот пожелтел и так высох, что, упав на стол переломился.

— Знаешь, Галя, — говорил Величкин, — я как-то сейчас только, сегодня, почувствовал, какое большое дело мы сделали. Настоящую работу! Я не жалею ничего! Ни того, что голодал, ни разлуки со многими друзьями, даже и того, что случилось... ну, что вышло с партией, тоже я не жалею.

— Тебя восстановят, — сказала Галя. — Знаешь, я завидую тебе, Сережа! Ведь и в самом деле вы сделали настоящее дело.

— Да. Я подам в контрольную комиссию, как только Зотов привезет нужные бумажки. А какой все-таки прекрасный работник и парень Зотов, — как он заботливо и хорошо ко мне отнесся! Это вот настоящий друг! Он не рассыпается в жалких словечках и ласковых улыбках, но у него твердая рука, о которую не страшно опереться. Я уж не говорю о том, что он с радостью разделит последний или даже лишний кусок (лишнее всегда делят неохотней). Но, самое главное, он будет другом до конца. В любой беде на него можно положиться.

Говоря все это, Величкин чувствовал себя справедливым и великодушным. Но больше он не мог. Полынное дыхание подступило к его губам.

— Впрочем, что я тебе рассказываю, — сказал он глухим голосом.—Ты ведь знаешь его лучше, чем я!

Вся горечь длинных месяцев неразделенной мучительной любви была влита в эту простую фразу.

Галя внимательно посмотрела на Величкина. Сейчас только она начала понимать многое и в нем и в себе.

— Ты мне это говоришь второй раз, — начала она. — Знаешь, Сережа, насчет Зотова...

В двери постучали.

— Зотов приехал! — крикнул Величкин, вскакивая. Но это был не Зотов.

Почти опережая свой стук, вошел почтальон в синей фуражке и с длинными, обвисшими, как ивовые ветви, усами.

— Заказное-с, — сказал он, как-то странно присвистывая. — Распишитесь. — еще раз свистнул он.

Всякое письмо загадочно, как беременность. Из самого пошлого розового конверта, даже с двумя васильками, скрещенными в левом углу, может выпасть смерть. Усталый почтальон равнодушно извлекает из клеенчатой сумки пыльные и проштемпелеванные вздохи Ромео и напитанные ядом стрелы Анчара. Вестник радостей и смертей, он безразличен, как его сумка. Чужие восторги и грусти сводятся к этажам и верстам, к нормам выработки и тарифу.

Величкин, позабыв обо всем и даже о Гале, вскрыл толстый конверт.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

*Если слава придет с деньгами, пусть приходит слава.
Если деньги придут одни, пусть придут деньги.*

Дже к Лондон.

Письмо Иннокентия Зотова

«Милый дружище! Не торопись заглядывать в конец этого длинного послания. Прочти все терпеливо с начала и до последней точки. Это будет тебе полезно.

В такой, по крайней мере надежде я целую неделю трудился над ним.

Итак, Сережа, я сказал «Гэп!» Что такое «Гэп?» — ты спросишь. «Гэп» — это то, ради чего я и жил последние пять лет.

Если человек может сесть в кресло, протянуть ноги к камину и, покуривая трубку, кричать «гэп!» — значит, он добился своего. «Гэп» значит: «я достиг!» Достигаю по-разному. Одни организуют общество «Друг детей», другие поступают на содержание к костлявой миллионерше, третьи открывают новый материк, еще не снабженный ни названием, ни зубной пастой «Хлородонт».

Однако буду совершенно, до жути, серьезен, как того требуют обстоятельства.

Пять лет назад (совсем юбилейная речь: товарищи, пять лет тому назад рабочий класс под руководством...) Так вот: пять лет назад в Москву вошел с Северного вокзала молодой осел с парусиновым портфелем и башкой, набитой глупейшими бреднями. Какими? Ты, Сереженька, хорошо их знаешь, эти наши идеи того времени, ты и сейчас еще носишься с ними и бережешь их, как вставные челюсти. Все эти «счастье в борьбе» казались мне, т. е. этому самому юному ослу, высочайшими вершинами человеческой мысли.

Я не раз рассказывал тебе свой первый студенческий год. Убогое было времячко. Я голодал, зубрил с утра до ночи, я, кажется, уморил своих бедных стариков. И уже очень скоро я почувствовал, что что-то не так в этих побасенках, что-то в них гнило. Мне даже смешно сделалось (знаешь, налетчика, который выдал своих ребят, остальные участники шайки волочат, чтобы бросить под скорый поезд. Он идет со связанными

сзади руками, потом оборачивается и, пожимая одним плечом, говорит: «Смешно мне это, товарищи!»)

Мимо меня шуршали шелками *и резиновыми шинами, а я топал в своих пудовых сапогах и думал. И вот, когда я как следует огляделся, одумался, мне стало ясно, что все, о чем мы (ты, я, другие) трепали языком, — просто бред и пустяки.

Каждый живет и должен жить ради успеха, ради удачи. Каждый урывает себе такой кусок, какой его зубы одолеют. А те, кому ничего не досталось урвать, пусть маршируют под оркестр урчащих желудков и сочиняют утешительные легенды (в роде поповского рая) на тему «счастье в борьбе», «построим социализм» и прочая, и прочая. Экое, подумаешь, счастье! Нет, брат, это счастье для ломовой лошади, но не для человека с головою!

В чем я вижу успех? Во-первых, в деньгах. Не в жалких, обложенных фишинспектором червонцах, разумеется, а в настоящих больших деньгах, в таких деньгах, которые дают тебе право считать себя в коротком списке подлинных хозяев земли. Чтобы всеми этими червяками, ползающими у твоих патентованных башмаков, ты мог командовать по своему усмотрению. Что усмотрению?—Капризу! Для этого, правда, кроме денег, есть и еще одна дорога — политика, партия. Но поди, попробуй, вскарабкайся по этой горной тропишке! Я, по крайней мере, не чувствовал себя приспособленным для нее.

А желанья душили меня, Сережка. Я задыхался от подступающих к горлу желаний. Эти женщины, которые стадами ходят по улицам, передвижные сокровищницы наслаждений... Вещи... И, главное: тебя ведь тоже

не раз пинали и наступали тебе на ногу? Это бывает с каждым. И у тебя ведь немало, должно быть, записано обид в потайном блок-ноте? Я их чувствую особенно остро!

Очень давно я сказал себе: ничего не забывай! И я не забыл ни одного унижения, ни одного бранного слова. Когда мне попадались особенно трудная задача или когда зубастый голод врывался в мои внутренности, когда я готов был бросить все к черту и поступить секретарем в собес, лишь бы только пить каждое утро кофе и кушать сдобную булку, тогда я говорил себе: разозлись! Я вспоминал мастеров, которые били меня по затылку, командиров, которые сажали меня на гауптвахту, приятелей, которые клеветали на меня. И я мог идти дальше через любой голод и труд, ради того, чтобы вырвать, зубами выгрызть право на презрение.

Нет, право презирать не дается даром! Его нужно завоевать! Я не думал о вульгарном удовольствии дешевой мести. Но стать выше всего этого отребья, взглянуть на них с трехаршинного роста, ткнуть им под нос свое напечатанное «саженными шрифтами» на первых страницах газет имя... Да, ради этого стоило голодать и вдвое!

Я ходил по Кузнецкому и думал: «Вы, проклятые удачники, которые ездите в автомобилях и жрете «густые взбитые сливки». погодите, мы еще посмотрим, у кого старший козырь! Я вам покажу, что такое настоящий человек!»

Я терпел. Я был очень терпелив. Но это было терпение зверя, лежащего в засаде в тропинки к водоему. Время казалось мне медленным, как огонек сигары,

Еще одно пояснение: я, конечно, читал и Маркса и Ленина. Я со всем согласен и верю в мировую революцию.

Я знаю, что она в самом деле будет, а там за нею много хороших и вкусных вещей. Но. позволь спросить, что мне в том?

Все наше поколение, а может, и еще три поколения обречены на слом, на тугую плавку в домнах войн и революций. Всем нам суждено гнить в Руре или в Пикардии. Да, именно в Пикардии! Так что мне за польза, что мне за дело до того, что прозвенел третий звонок и старуха-история приветливо взмахнула семафором? Плевать я хотел на своих праправнуков! Да и чего ради мне стараться! Роль личности ничтожна, социализм и земной рай все равно будут, правнуки станут жить в голубых стеклянных дворцах, и мое участие и мои труды вовсе не обязательны. Так отчего же мне лучше свою короткую, как выстрел, земную жизнь не прожить по своему, как мне нравится? Ну-ка, опровергни!

Но пусть даже и не так! Пусть по моей — да, да, по моей, Иннокентия Зотова—вине все третье по счету поколение осуждено будет на мякинный хлеб и вымирание! Мне какое дело?

Я молчал и таился. По виду я был такой же, как все, но я ждал только случая. чтобы взлететь, и готовился к нему.

Я стискивал зубы до крови из десен и учился. чтобы приготовиться к этому случаю. И он пришел. Ты принес мне его в своем кармане.

Остальное понятно. Я работал с тобой и работал неплохо. Я делал все, что от меня требовалось, и даже немножко больше. Я жевал лук с сахаром и делил

с тобой полуспальную кровать. Я продолжал работать, даже когда ты сам сдрейфил и сдал. Неужели ты думаешь, что все это я проделывал ради великопостного звания советского изобретателя и какого-нибудь четырехсотенного оклада?

Не буду тебя больше томить: изобретение продано иностранцам.

Уже в понедельник, когда ты сидел дома и ломал голову над моим поведением, я мягко раскачивался в международном вагоне скорого поезда, а сейчас, когда ты читаешь это письмо, я уже на пути за океан.

Полагаю, ты легко догадаешься, почему я избрал для разговора с тобой такую дистанцию. Ты мог бы надолго задержать, а может, и вовсе расстроить дело. А я человек предусмотрительный!

Не сделал ли я подлости в отношении тебя? Может быть, и так! Но большая цель оправдывает даже подлые средства. Если бы передо мной лежали жалкие тысячи... но меня ждало нечто гораздо большее и лучшее. Нечто, прямо скажу, недурное для начала.

Помнишь, Сережа, — это было давно, — мы стояли перед взорванным и исковерканным мостом. Балки, углы, фермы и переплеты, смятые и деформированные, подняли руки к зимнему багровому небу. Над пропастью в триста метров лепилась узенькая полоска стали — случайно уцелевшая в грохоте разгрома паутинка. Она обледенела, натянулась как струна и сумрачно поблескивала.

— Пройдешь? — спросил я тебя.

Ты подумал и убежденно ответил:

— Если б от этого зависела судьба революции, прошел бы!

Да, ты не врал. Я и сам тогда ответил бы так же. Но сейчас — нет! Сейчас бы я не пошел. А вот если бы на конце этой стальной полоски лежал миллион, я бы пополз.

На локтях, на брюхе, цепляясь зубами, крошащимися о жесткую сталь, а пополз бы.

И вот я пополз. Я перешагнул через подлость. Да что через подлость — я бы этой самой костлявой и слюнявой, заросшей бородавками, старухе-миллионерше продался б за миллион!

Тебе не понять. Сережа! Ты — мечтатель! Такие, как ты, всегда оставались в дураках! Нет у тебя настоящей цепкости, нет хватки. А жизнь таких не любит! Жизнь, Сережа, розовым словом не возьмешь. Это — шлюха, грязная солдатская девка..

Сшибай ее с ног, вали в грязь, топчи ее ногами, и тогда она отдастся тебе и подарит лучшие из своих об'ятий...

.....

Так я думаю, Сережа, и так я буду жить. Постой, еще немного. Я — не выродок, я не один. Их много, моих друзей по духу. Я часто узнавал их по горящим взглядам, по крадущейся напряженной походке, по цепким мощным рукам. Их все больше! Нас ловких, лезущих вверх, цепляющихся за каждый уступ, возникающих из-за каждого угла — армия! Не знаю, что будет завтра, но на сегодня мир принадлежит нам! Иди к нам, пока не поздно! Будь нашим! И тогда с тобой всегда опять охотно разделит рубашку, обед и жену твой бывший друг

Иннокентий Зотов.

P. S. Чтобы тебя утешить, оставляю тебе твою Галю Матусевич. Бери ее, пользуйся! Не бойся, старик, я ее передаю в полной сохранности. Сам не очень хотел, да и она... А мы найдем и не таких. Денег добавлю по первой телеграмме. Буду тогда знать, что ты одобрил мое поведение. Впрочем, на слишком большие суммы не рассчитывай. Самому годятся...

Или, может, ты предпочитаешь начать все сызнова и один? Крой! Только где же тебе? Тонка у тебя кишка! Такие, как ты, быстро вспыхивают, но еще быстрее угасают.

И. З.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

„Что может быть лучше во всем мире, во всем биоскопе, чем двое идущие рядом?“

О'Генри

Давно уже письмо было дочитано, а Величкин все стоял у стола и молча сощипывал поля с бумаги. Галя несколько раз повторила какой-то один и тот же вопрос, но он не слышал и не слушал. Галя взяла у него письмо, и Величкин даже не заметил этого. Сгорбясь, он отошел к темному окну, в котором висела и колебалась повторенная трижды электрическая лампочка. Уступы огней спускались к замерзшей реке. Далеко почти уже в степной равнине, горело сквозь шесть рядов окон большое фабричное здание. Был тихий час воскресного вечера. Город отдыхал как усталый рабочий, присевший на скамье сквера.

— Телеграмма... — высловил наконец Величкин. — Я бы ему послал телеграмму в одно слово — сволочь! Сволочь! — повторил он несколько раз. — Эх, сволочь!

От найденного крепкого слова Величкину несколько полегчало, но все же к собственным фразам он прислушивался еще с удивлением... Их как бы приносило ветром.

— Он-то сволочь. — говорил Величкин, — но ведь и я хорош. Стоял лицом к лицу и не разобрал ни чорта. Как я мог! Как я только мог! Как я гоцько мог так опростоболоситься!

Величкину разом припомнились все недомолвки Зютова, все его нештучные шутки, его мысли о женщинах, разговор с Матусевичем о смысле жизни... Все это в свете письма было так понято, так, казалось, легко было давным-давно распознать, кто разгуливает под зотовской шкурой.

— И ведь мы с ним вместе спали, ели, ходили... Куда же я гожусь! Гнилье, трухлявая порода, сдрейфил как-раз, когда бы нужно стиснуть зубы.

— Да,— сказала Галя задумчиво.— Ты бы мог у него многому научиться... Все-таки он сильный человек. Какая цепкость! Бульдोजья хватка... А бранных слов телеграф не принимает.

Величкин промолчал. Все это было лишним пустословием. Зачем и как говорить? Он сплблен с ног окончательным и метким ударом. Арбитр может считать хоть до тысячи, но Величкин больше не подыметя из кровавого тумана. Конца! Нок-аут!

— Все. — сказал он вслух. — точка!

Г а л я. — А правду он пишет, что можно начать сызнова?

В е л и ч к и н. — Может быть, и правду. Мне безразлично. Я не буду и не могу работать.

Г а л я. — Не будешь? Но ведь это нужно! Ведь ты должен! В чем, собственно, дело? Что тебя подкосило? Ну, хорошо, был друг, оказался гадом, но что же из этого? Разве ты не знал, что в нашей среде, с нами рядом живут мерзавцы? В одном ведь Зотов прав наверняка — он не один. Этих, лезущих на рожон, увертливых деляг с цепкими руками и скользкой кожей — тысячи. А мы, значит, сложим руки, и пусть они нас бьют по морде, да? Ну, чего же ты молчишь?

В е л и ч к и н. — Не уговаривай!..

Г а л я. — Нет, буду уговаривать! Ты — винтик и не смеешь выпадать из машины! Помнишь, что ты сам мне говорил? Ты сделал большую и нужную работу и обязан ее докончить.

В е л и ч к и н. — Обязан? Ну, а если я слаб? Ну, хорошо, пусть мне пятак цена, но я не могу, понимаешь!

Г а л я. — Ты сумеешь. Сережа. Мы не имеем права быть слабей их. И мы сильнее! Потому что они все-таки одиночки, а мы... А за нами, за винтиками — вся машина.. Ну ответь же, Сереженька! Довольно тебе рисовать треугольники по стеклу.

— Сережа.. — позвала еще раз Галя.

Но он не ответил.

— А если вместе, Сережа? — сказала она очень тихо.

— Вместе? — устало и непонятливо переспросил он.

И, еще не понимая, что с ним и почему, Величкин всеми нервами, всей кожей и сердцем почувствовал осо-

бенное, дикое и радостное напряжение. Странное и небывалое чувство накатило на него теплой смолистой волной, оно облило и обласкало его, как морская вода, как южный ветер. Но в следующую секунду он понял. Галя, одной рукой обняв его, другой гладила и перебирала его волосы. Величкин обернулся к ней. Сердце его расширилось и заняло. Ему досталось слишком много работы для одного часа.

Нужно было немедленно сказать что-нибудь очень глубокое, умное и необыкновенное, что-нибудь, полностью передающее и объясняющее всю великолепную сумятицу его горячих мыслей, все горькое счастье разделенной любви, рожденной в час крушения надежд. Медленно наклоняясь, Величкин сказал: «Галя!»

Темный большой мир качнулся и загудел, как примус. Впрочем, может быть, это и в самом деле гудел примус, позабытый в углу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая	7
» вторая	15
» третья	20
» четвертая	31
» пятая	35
» шестая	43
» седьмая	51
» восьмая	59
» девятая	64
» десятая	70
» одинадцатая	74
» двенадцатая	78
» тринадцатая	85
» четырнадцатая	91
» пятнадцатая	95

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая	101
» вторая	110
» третья	116

Глава четвертая	119
„ пятая	125
„ шестая	135
„ седьмая	140
„ восьмая	15
„ девятая	165
„ десятая	174
„ одиннадцатая	187
„ двенадцатая	194
